



АЛЕКСАНДР
ПРОХАНОВ

ПЕПЕЛ



Александр Проханов

Пепел

«ЭКСМО»

Проханов А. А.

Пепел / А. А. Проханов — «Эксмо»,

Выпускник Института иностранных языков, специалист-востоковед Петр Суздальцев отверг Москву, блестящую карьеру и личное благополучие – и удалился в деревню. Там он вознамерился написать роман о волшебном, красивом, манящем и сказочном Востоке. Однако в романтической душе юноши всякий раз зарождается мучительное, обжигающее предчувствие какой-то странной войны, и пишет он вовсе не красивую сказку, а жестокую, яростную, пропахшую порохом и кровью батальную прозу, а в ней с предельным реализмом и страданием изображены все фазы и фрагменты будущей афганской кампании...

© Проханов А. А.

© Эксмо

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	5
ГЛАВА 1	6
ГЛАВА 2	16
ГЛАВА 3	28
ГЛАВА 4	36
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Александр Проханов

Пепел

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В молодости я написал четверостишие:

Мне долгий век кукушка нарыдала.
Должно быть, знала, вещая, она,
О том, что терпеливо поджидала
Меня далекая нездешняя война.

В этом стихотворении выражено ощущение, которое было характерно для многих моих сверстников, чьи отцы погибли на фронтах Отечественной, и кто жил и возрастал в благословенное, невоенное время, увлекаясь поэзией, русской стариной, авангардными направлениями науки. Мы пользовались благами, которые добыли нам отцы ценой своих жизней. И нам казалось, что мы в долгу перед ними, и заплатить этот долг мы сможем, лишь пережив, хотя бы отчасти, те лишения, что выпали им на долю. И эти лишения – военные. Предчувствия грядущей войны были свойственны тому времени, создавали среди определенных кругов молодежи духовное и этическое напряжение. Я принадлежал к этим кругам. Афганская война, когда она разразилась, и стала для меня той войной, что была дана мне в предчувствии.

Роман «Пепел» следует рассматривать в неразрывной связи с романом «Стеклодуб. Война страшна покаянием». Там действует профессиональный военный, разведчик, описана его военная афганская «одиссея». В романе «Пепел» – юность героя. Афганская война дана ему как предчувствие, как «галлюцинация» художника. Тем не менее, в этих «галлюцинациях» я постарался с предельным реализмом изобразить все фазы и фрагменты «афганской кампании», свидетелем и участником которых я был на протяжении всей войны.

Александр Проханов

ГЛАВА 1

Суздальцев совершал любимую вечернюю прогулку по осенней Москве, такой благоухающей, смугло-золотистой, с фонарями, дрожащими среди мокрых деревьев. Тихвинская улица металлически блестела после дождя. Кольчуга булыжника отливала голубым. Трамвайные рельсы струились стальными ручьями. Окна в домах все были оранжевые из-за висящих в комнатах одинаковых матерчатых абажуров. Суздальцева обогнал трамвай с номером 27. Вагоны похрустывали на стыках. За стеклами маслянисто, как в рыбьем жире, проплыли лица пассажиров. На крыше трамвая торчали чуткие рожки, как у улитки. На них горели два фонарика, зеленый и малиновый, как испуганные глаза зверьков. У Палихи трамвай повернул, сбросив с дуги длинную зеленую искру, которая упала на булыжник и не сразу погасла.

Теперь он шел вдоль чахоточной клиники с белыми колоннами и ампирическим фронтоном. Большие окна клиники ярко полыхали, и казалось, в палатах что-то случилось, кому-то плохо, и от этого Суздальцеву стало тревожно.

Памятник Достоевскому перед клиникой стеклянно темнел сквозь голые тополя и казался пациентом, который выбежал из палаты и оцепенел в больничном халате, с голым плечом и в шлепанцах.

За клиникой громоздился Театр Советской армии, построенный в виде пятиконечной звезды. В каменных капителях колонн спали голуби. Над театром в черно-синем небе пылал красный флаг. Бурлил на ветру, волновался, и было слышно хлопанье тугой материи.

Суздальцев прошел вдоль Екатерининского дворца, перед которым стояли старые гаубицы на деревянных колесах. Полукруглые окна дворца золотились. Слышалась музыка, и казалось, там идет бал. Дамы в тяжелых кринолинах и кавалеры в париках грациозно танцуют менуэт.

Бульвар был сырой, просторный, с черными, уходящими ввысь деревьями. Сквозь чугунную решетку бежали огни. Памятник маршалу Толбухину казался отлитым из черного стекла. Пахло дождем, опавшими листьями, мокрыми крышами – осенней вечерней Москвой, которую он так любил.

Уйдя с бульвара, Суздальцев пошел в гору кривыми переулками, среди ветхих особнячков, мещанских домов и купеческих лабазов. Из открытых форточек тянуло кухней, слышались голоса, радио играло фортепьянную пьесу. И ему казалось, что в домах обитают герои чеховских рассказов – телеграфисты, студенты, барышни, земские врачи и уездные курсистки. Он миновал эти соты с таинственной московской жизнью и оказался там, куда изначально направлялся.

Он стоял перед черной изглоданной колокольней, у которой отсутствовала маковка; в шатре были уступы от выпавших камней. Она была окружена сараями, мертвыми мастерскими, обрывками колючей проволоки, и не было ни в ней, ни вокруг ни огонька. Вблизи от колокольни, в распахнутом, свободном от туч небе светила полная луна. Она была голубоватой, с блестящими отточенными краями, окруженными тончайшей радужной пленкой. Тучи шли выше луны, а она сияла всей своей небесной силой. Казалось, луна и колокольня поджидали его, и пока он шел бульварами и переулками, расстояние между синей яркой луной и черной обглоданной колокольней оставалось неизменным и стало уменьшаться после того, как он приблизился. Словно были запущены таинственные небесные часы.

Суздальцев встал на тротуаре так, чтобы луна почти касалась колокольни, устремил на нее глаза и стал ждать. Колокольня, луна и его зрачок составляли сложное единство. Перед ним в небесах был помещен загадочный прибор, действующий по законам оптики, астрономии и той необъяснимой силы, которой обладает культовое сооружение, пусть оскверненное и разгромленное, но сохранившее загадочную святость.

«Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней», – вспомнил он стих Ахматовой, который недавно прочитал в поэтическом сборнике. И стал ждать, когда четверть осеннего светила уйдет за уступы шатра.

Луна медленно подвигалась. Коснулась колокольни отточенной кромкой, и стал виден черный кустик, растущий на колокольне. Он казался нарисованным тончайшим пером на блестящей лунной поверхности.

Прибор, к которому Суздальцев обратился за помощью, должен был помочь ему совершить правильный выбор. Для этого не хватало обычных расчетов и разумений, и он обратился за помощью к космическому телу и божественному промыслу, который присутствовал в колокольне.

Он, Петр Суздальцев, двадцати двух лет отроду, только что окончил Институт иностранных языков, защитив диплом с отличием. Он овладел фарси, несколькими тюркскими языками и основами хинди. И его пригласил на собеседование невысокий седой человек, у которого половину лица закрывал бурлящий шрам от ожога. Он представился полковником военной разведки и предложил Суздальцеву поступить на военные курсы. По их окончании поехать в регион, говорящий на фарси, и работать в интересах государства. Предложение было сделано таким спокойным холодным тоном, что Суздальцев почувствовал, как на его горле щелкнул металлический обруч. Ему предлагали стать деталью войны, элементом всеобъемлющего государства. Страх потерять свою независимость, свою свободолюбивую личность и превратиться в деталь был подобен панике. В виде малой, легкозаменимой детали оказаться в громадном, свирепом и анонимном механизме войны – этот страх превращался в ужас.

Его жизнь с детства до нынешних дней напоминала увлекательное путешествие, где его сопровождали любимые мама и бабушка, заботливые воспитатели детского сада, благожелательные учителя, веселые пионервожатые, а позднее – интеллигентные и внимательные преподаватели института. Его жизнь катилась по заранее проложенным рельсам, и можно было догадаться, куда приведет его маршрут: аспирантура, диссертация, преподавательская работа, и сопутствующие всему этому – семья, рождение детей, благополучный устоявшийся быт. И эта непреложная определенность, эта несвободная занятость удручали его. Несвобода, обступившая его со всех сторон. Предсказуемость будущего. Замурованность в обыденные обстоятельства. Отречение от восхитительных неясных мечтаний о творчестве, о непредсказуемом и манящем будущем. Два страха, два кошмара слились в один – в ощущение надвигающейся несвободы. Он искал спасения. Искал такого поступка, который избавил бы его от посягательств на его свободу. Мучился, не находил. Наконец, уповая на космический промысел и божественные силы, обратился к луне и колокольне.

Луна уходила за колокольню, и черный щербатый камень был похож на зубастый рот, который заглатывает светило. Небесное тело и старинный храм превращали его созерцание в древний магический обряд. В богослужение египетского жреца или колдуна майя, которые улавливали космический луч в ритуальное сооружение и управляли судьбой. Суздальцев уповал на высшие силы, которые помогут ему обрести свободу.

Он чувствовал под сердцем крохотную воронку, в которой вращалась тончайшая, сжатая плотно спираль. Дрожала, пульсировала. Была готова распрямиться в свистящий вихрь, в молниеносный разящий удар – и отсечь все кошмары, разметать все непреложные и унылые обстоятельства, делающие его несвободным. Но было страшно отдаться вихрю. Страшно нырнуть в воронку, чтобы уйти в недостижимую глубину и вынырнуть в другой жизни, с иной непредсказуемой и прекрасной судьбой. И Петр смотрел на луну, уходящую в колокольню, и повторял: «Россия Достоевского. Луна почти на четверть скрыта колокольней».

Отсечению подлежал огромный и целостный мир, в котором он родился и который его питал и вскармливал. Отсечению подлежал милый и добрый дом, где они жили с мамой и бабушкой. Отсечению подлежала профессия, сулившая процветание. Отсечению подлежали

друзья, споры и беседы с которыми питали его ум, наделяли идеями и смыслами. Отсечению подлежала девушка, которую он считал невестой и которая была готова стать ему женой. Эти отсечения казались безумством, выглядели, как слепое насилие, несли в себе одно разрушение. Но под сердцем крутилась спираль, переливалась огненная лунка, звучал таинственный, едва различимый зов из иной жизни.

На луне, среди белого ртутного блеска проступали чуть видные голубоватые пятна. Тени кратеров и лунных морей, и одно из пятен, ограниченное темной каймой, отмечало лунную четверть, которую должна была поглотить колокольня. Суздальцев видел неумолимое движение луны, которая перемещалась едва заметными толчками, приближая роковую отметку к черному шатру колокольни. Это приближение рождало в нем муку, бессилие, безнадежность. Он не мог остановить небесное тело, не обладал волшебным словом, которое в древности останавливало течение солнца, и космос замирал, парализованный могучим внушением. Луна утонула в каменной колокольне, и с каждым тихим толчком, с каждым биением сердца, с каждым ударом зрачков уменьшалась надежда на одоление роковой гравитации, которая затягивала его в свою угрюмую толщу.

Луны в синем небе становилось все меньше и меньше. Теперь она напоминала блюдо, у которого откололи край. До голубого пятна оставался тонкий блестящий просвет.

Суздальцев чувствовал, как за его душу борются две невидимые силы, сражаются два небесных существа. Вырывают его друг у друга, и одолевает та, что связана с темной материей, угрюмой судьбой, несвободой. А та, что плескала прозрачными голубыми крылами, уступает, отдает его тьме, не в силах сражаться.

Воронка под сердцем кружилась, сжималась, завиток спирали становился все меньше. Малый вихрь ослабевал, готовый окаменеть, превратиться в отпечаток на камне. Чтобы всю остальную жизнь являться во снах, как умерщвленная, неродившаяся галактика. И когда лунная четверть погрузилась в шатер, и тень от неведомой лунной горы коснулась шатра, его зрачки последним непомерным усилием вонзились в исчезающий малый прогал, и ему показалось, что он кричит на пустынной московской улице. Всей своей страстью, всей отпущенной ему волей рванулся прочь от шатра. Вырвался из остывающей магмы. Одолевал притяжение угрюмого магнита. И вдруг воронка в его душе распахнулась, и он кинулся в нее, как кидается ныряльщик, проскальзывая в сверкании и блеске, выныривая в другую жизнь и судьбу. Каменная тьма удалялась, была бессильна его поглотить. А он свободный, сбросив бремя, был вершителем своей судьбы, был творцом грядущего, ему предстоящего чуда. Его жизнь преломилась, как преломляется луч в стакане воды. Москва с дорогими друзьями, любимые мама и бабушка, невеста с ее печальным лицом, полковник разведки с огненным на лице отпечатком – все это отлетало назад в луче.

Луч, который подхватил его, преломившись и изменив направление, был чист, невесом, драгоценен. И там, где он преломлялся, горела чистая радуга.

Легкий, свободный, счастливый, он уходил от колокольни, за которой скрылась луна. Шатер колокольни был окружен голубым дивным пламенем, словно на колокольню поднялся звонарь с серебряным нимбом.

Через несколько дней его снова вызвал к себе полковник, которому проректор уступил свой кабинет. Полковник был невысокий, аккуратный, слегка отчужденный. Одна половина лица хранила следы мужской красоты и силы, словно была выточена искусным резцом. Другая была изуродована бугристым розово-фиолетовым шрамом, который спускался на шею и исчезал за воротом рубахи. Шрам снова появлялся из-под манжеты на руке, весь из застывших пузырей и перепонок. И Суздальцеву казалось, что ожог распространяется по всему его телу вплоть до ног, словно человека положили боком на огромную сковородку и жарили в кипящем масле.

– Вы обдумали мое предложение, Петр Андреевич? – спросил полковник, подчеркнуто называя его по имени-отчеству, что исключало всякую фамильярность. Над головой полковника висел портрет Хрущева в раме, выкрашенной бронзовой краской. Портрет был сильно отретуширован, казался глазированным, словно Хрущев был сделан из целлулоида.

– Я не могу принять ваше предложение, – ответил Суздальцев, испытывая легкость, почти веселость, ибо был свободен, был в иной жизни, хотя полковник не мог об этом догадываться.

– Что вас удерживает? Вам неприятна мысль о воинской службе? Вы пацифист?

– Просто я выбрал другую судьбу.

Полковник внимательно посмотрел в его молодые веселые глаза, видимо, угадывая в нем то состояние веселья и бесстрашной настойчивости, какая свойственна безрассудно свободному человеку.

– Человек бежит по льдине в одну сторону, а льдину сносит в другую. Ему кажется, что он самостоятелен и свободен в своем беге, но он связан с льдиной и подчиняется ее движению. Чем бы вы ни занимались, живя в стране, вы не можете быть свободны от страны. Вы будете двигаться туда, куда движется страна.

Суздальцев ожидал, что его будут принуждать, угрожать, уговаривать. Но полковник, казалось, звал его туда, откуда пришел сам. И там, откуда он явился, людей опускали в шипящее масло, водили по ним паяльной лампой или прикладывали всем телом к раскаленной броне.

– Чем же вы хотите заняться? Я прочитал ваш диплом. Ваши суждения о персидской поэзии, о религиозной одухотворенности Шахнаме, об иносказательных притчах Бабурнаме заслуживают высокой оценки. Чем же вы хотите заняться?

Суздальцев испытал к полковнику доверие и сострадание, к тому неизвестному опыту, который превратил его лицо в поверхность застывшего метеорита. Не понимая, почему признается незнакомому человеку в сокровенных и неясных мечтаниях, он сказал:

– Мне хочется оставить Москву, поселиться в глуши и написать роман.

– О чем, если не секрет, роман?

Суздальцев смутился, пожалел о своем признании:

– Еще не знаю. О русском страннике, который отправился за три моря в неизвестную страну, в Индию или Иран. О его волшебных скитаниях, о восточных царях, пирах и охотах. О лазурных мечетях, где он слушает неведомые русским молитвы. О восточных красавицах, которые его очаровывают. Точно не знаю, о чем.

– Вы правы, русского человека всегда увлекал Восток, словно это его забытая родина. Шел с войсками покорять Бухару, а на самом деле шел возвращать себе родину. Это остро чувствовал Николай Гумилев. Вы не найдете в библиотеке его стихов, но там есть такие строки: «Поля неведомой земли, и гибель роты несчастливой, и Уч-Кудук, и Киндерли, и русский флаг над белой Хивой».

– Я не знаю этих стихов, – сказал Суздальцев, удивляясь тихой и загадочной музыке, которая зазвучала в голосе полковника. Той таинственной зелени и синеве, которые появились в его серых стальных глазах, будто в них переливами заиграли изразцы Шах Изинда и плеснула лазурь Самарканда.

– Мне кажется, вы меня понимаете, – произнес Суздальцев.

– У нашей империи две головы; она смотрит и на Восток, и на Запад. Весь нынешний век империя смотрела на Запад, отражала нашествия, захватывала европейские столицы. Но этот период закончен. Начинается эра Востока. В грядущие десятилетия нас ожидают грандиозные перемены на Востоке. Там копят конфликты, вызревают войны, грядут исламские революции. Через десять-пятнадцать лет предстоит большая война на Востоке, и нам нужны люди,

которые окажутся на будущих театрах военных действий и помогут нам выиграть грядущую схватку.

– Вы говорите о разведчиках? Разве у вас есть недостаток в разведчиках, работающих на Востоке?

– Генеральный штаб Российской империи имел на Востоке блестящих разведчиков. Чего стоит один Грибоедов. Под видом дервишей и купцов, дипломатов и путешественников русские проникали в самых глухие районы Ирана и Афганистана. Они составляли карты, брали пробы грунтов, отыскивали водопои для кавалерии, богатые фуражом и продовольствием селения. Они собирали коллекции минералов, открывая месторождения золота и лазурита. Собрали гербарии, пополняя списки целебных и ядовитых трав. Они описывали этнографию, обычаи, религиозные обряды и игры – и все это перешло по наследству к советским разведчикам. Меня учил человек, который в лохмотьях дервиша прошел пешком Афганистан от Герата до Кандагара, от Желалабада до Кундуза. Он составил карту танковых проходов, брал пробы гранита на склонах гор, чтобы камень не крошился под давлением гусениц. К сожалению, эта школа разведки во многом утеряна. После расстрела Берии по разведке был нанесен сокрушительный удар, и туда пришли дилетанты. Сейчас мы не готовы к большой войне на Востоке. Мы стараемся наверстать упущенное и ищем среди талантливых студентов-восточников будущие кадры разведки.

Он умолк. Суздальцев хотел угадать, в каких пожарах, в каких горящих садах и пылающих мечетях человек потерял половину лица, на которой среди обугленной плоти смотрел строгий внимательный глаз.

– Я не гожусь для вас. Я не хочу быть разведчиком, а хочу быть писателем.

– Писатель – это тоже разведчик. Разведчик Господа Бога. Вы хотите уклониться от грядущей войны, но она вас настигнет. Напялит вам на голову чалму. Сунет в руки автомат и направит в виноградники Кандагара или пески пустыни Регистан.

Полковник посмотрел на Суздальцева так, словно видел его, бредущего среди песков неведомой пустыни. И Суздальцев не знал, кто перед ним. Представитель военной разведки или загадочный, посланный ему предсказатель, вестник из будущего. И его ожог – мета будущей, еще не случившейся войны. Войны с Востока.

– Я не стану вас неволить. Поезжайте и пишите книгу о своем путешественнике. В конце концов, он окажется русским разведчиком, и вы к нам рано или поздно вернетесь.

– Едва ли, – ответил Суздальцев.

– Больше вас не задерживаю. Желаю удачи.

Полковник пожал ему руку и проводил до двери, так и не назвав себя. Простился, чтобы больше никогда не возникнуть.

А Суздальцев, упиваясь свободой, уже неуловимый и недоступный, покидал кабинет, чувствуя, как раскручивается и уносит его восхитительный вихрь.

Теперь он расставался с самыми дорогими и близкими, с мамой и бабушкой, которые взрастили его, сберегли среди бед и несчастий, окружили светящейся любовью, не давая проникнуть сквозь этот чудотворный покров черным устремлениям мира. Они сидели втроем под старинным цветным фонарем в свинцовой оплетке; наборные стекла рассыпали по потолку павлиньи перья, на которые он привык смотреть с самого раннего детства, и эти многоцветные бесшумные радуги рождали в нем младенческое ощущение счастья. Мама и бабушка сидели в маленьких креслицах, а он – за письменным столом орехового дерева, помнящим все его ученические кляксы и царапины, и мама с горькими ямочками у дрожащих губ говорила:

– Ну куда, куда ты уезжаешь? Это безумие. Мы с бабушкой это не выдержим.

– Таня, ведь он уже взрослый. Наш Петенька уже взрослый человек. У него есть свой путь, свое право решать. – Бабушка волновалась; ей, как и матери, было больно и страшно, но

она, как всегда, заступалась за своего ненаглядного Петеньку. Потакала ему, была на стороне своего любимого Петеньки, который не мог ошибаться, был всегда прав. – Ведь он не задумал ничего худого. Просто он вырос, наш Петенька.

Он чувствовал, как страдает мать, как близко к ее серым любимым глазам подступили слезы. Как у бабушки от волнения дрожит голос, и она не замечает, как от ее белой седой головы отпала легкая прядь и легла на лицо. Он чувствовал их боль, и она передавалась ему, вызывая в нем страданье, которое тут же возвращалось к ним, усиливая их муку. Они сидели под радужными отсветами фонаря, питая друг друга страданьем, которое увеличивалось с каждым их словом.

– Всю жизнь я боялась. Войны, арестов, голода, смерти любимых. Всю жизнь мы с бабушкой сберегали тебя, увозили от немцев в эвакуацию, лечили от скарлатины и кори, поили рыбьим жиром, чтобы не стал дистрофиком. Продавали на рынке фамильное серебро, чтобы купить тебе масла. Ты рос без отца, и мы договорились с бабушкой, что я буду строга с тобой, заменяя отца, а она своей бесконечной любовью будет тебе как мать. Нам казалось, что ты вырос достойным, окончил с отличием школу, выбрал по вкусу профессию, окончил институт. И всем нашим страхам конец, мы вознаграждены, ты ступаешь на твердый жизненный путь, и всем нашим страхам конец, всем нашим ужасам и ожиданиям несчастий пришел долгожданный конец. Впереди у нас долгожданные годы спокойствия. И вот тебе это спокойствие. Опять мука, опять страдание, опять страх за тебя. О нас с бабушкой ты подумал?

– Ну, Таня, ну разве так можно? Он же не на войну уезжает, не в ссылку. Он просто хочет себя испытать, почувствовать, что такое жизнь без нашей опеки. Мы должны его понять, благословить. Мальчик вырос и хочет самостоятельной жизни.

Боль, которую он им причинял, возвращалась к нему обратно, была невыносима. Он заставлял страдать самых дорогих и любимых, и ему хотелось расцедь невидимую пуповину, по которой они питали друг друга страданием. Провести сверкающим скальпелем, отсекая от себя этот чудный мир, в котором каждый предмет, каждая чашка в буфете, каждый книжный корешок в шкафу были знакомы, драгоценны, были овеяны сказочными родовыми преданиями. Были мифологией его детства и юности, из которых выросло его знание мира.

– Наша семья маленькая, без отца. Среди ужасов и разгромов. Мы уцелели, мы выстояли. Все, что осталось от огромного рода, из которого беда выхватывала одного за другим. То война, то блокада, то аресты и ссылки, то болезни и помешательства. Но мы сохранились благодаря бесконечной любви, которую друг к другу питали. Столько было прекрасных дней. Наши путешествия в Третьяковку, в Кусково, в подмосковные усадьбы. Я видела, как тебя волнуют мои рассказы о русской старине, с каким увлечением ты читаешь книги по истории и архитектуре. Мне казалось, что наш союз не может распасться. Что мы всегда будем вместе и на старости лет увидим тебя счастливым, с женой, с детьми, которых будем нянчить, как нянчили когда-то тебя. Ты уходишь – и разрушаешь все наши надежды, разрушаешь весь наш чудесный маленький дом. Неужели тебе не жалко? Неужели тебе было плохо с нами?

Ему казалось, что мать, страдая, угадывает в нем самые незащищенные точки и вонзает в них свою боль, которая была нестерпима. Он видел мученья любимых людей. Был причиной этих мучений. Ему хотелось отсечь от себя их дрожащие голоса, их близкие слезы. Провести сверкающей сталью по воздуху. Отсечь эти старинные текинские ковры на стене. Японскую вазу с летящими журавлями. Бронзовые подсвечники, на которых еще сохранился воск старинных прогоревших свечей. Тот столик у бабушкиной кровати, на котором лежало маленькое Евангелие с золотым обрезом. Ту мамину акварель, на которой белая беседка отражается в осеннем пруду. Одним жестоким ударом отсечь от себя этот мир – и свободным, необремененным улететь в необъятное безымянное, его зовущее будущее.

– Тогда отца на войну провожала, а теперь – тебя. Он говорил, что вернется, но я по его глазам видела, что он готовится к смерти. Я укладывала в его вещмешок теплый свитер, шер-

стяные носки, сменные рубахи, платки. Положила фотографию, где он держит тебя на руках; ты потешный такой, в чепчике, а я смотрю на вас и люблю. Эта фотография истлела в безвестной сталинградской могиле. Я ее больше никогда не увижу. А теперь ты уходишь из дома, как отец, и тоже не вернешься домой.

Ее губы дрожали, как всегда, когда она говорила об отце. И он всегда, с самого детства, боялся ее слез, боялся ее воспоминаний, избегая говорить об отце.

– Таня, ну что ты говоришь! – рыдающим голосом воскликнула бабушка. – Да разве Петя на войну уходит? Он идет в леса, на природу, хочет узнать жизнь русских простых людей. Твой отец Александр Степанович так хотел жить на природе, в деревне, среди крестьян! Он оставил Петербург, университет и уехал земским врачом в деревню, на эпидемию тифа. Заразился и скоропостижно умер. Но Петенька едет не на войну, не на эпидемию. Он едет любоваться на природу и трудиться вместе с простыми людьми. – Она утешала мать, а сама готова была разрыдаться. Ее внук, ее Петенька, ее ненаглядный, уходил от них в темный враждебный мир. И они вдвоем будут горевать без него, и ему не поспеть, не отозваться на ее последний зов и мольбу.

Он заслонялся от них, не желал слышать их дрожащие от близких рыданий голоса, не желал видеть их измученные любимые лица. Он хотел отделиться непроницаемой преградой, сквозь которую не действовало притяжение всех знакомых родных предметов. Тот старинный сундук с музыкальным звонком, в котором, пересыпанные нафталином, лежали бабушкина парижская шляпа, черно-белые страусиные перья, бобровый воротник от дедовской шубы. Та хрустальная граненая чернильница на столе, в которую макали перья дед и отец, а потом и он, разложив на столе тетрадки, выводя каллиграфически буквы и цифры, а позже – первый неумело написанный стих о Кремле и Красной Звезде. Дверной косяк, на котором хранились отметины его роста, сделанные матерью в дни его рождения. Зимнее утро, заснеженное окно, и первое, что видят глаза, – это подарки. Рукотворная кобура с деревянным, вырезанным из доски пистолетом. Дудочка с блестящими кнопками. Банка с водой, в которой мечутся разноцветные рыбки.

– Ты не представляешь, на что себя обрекаешь. Ты никогда не жил в деревнях. Бедность, убогость, нищета. Озлобленные, изувеченные лишениями люди. Драки, попойки. Ты надорвешься на тяжелой работе, сопьешься, одичаешь. Ты получил прекрасное образование. Тебя ожидают аспирантура, чудесная профессия, история Востока, высокая поэзия. Зачем тебе это лесничество? Ну, какие такие лесники? Ты ломаешь себе жизнь, исковеркаешь свое будущее. Не сможешь стать писателем, не станешь творцом, а израсходуешь свою молодость на безумную, никчемную затею. Разбитый, разочарованный, вернешься в Москву, и тебя уже никто не примет. Только мы с бабушкой снова обнимем своего непутевого отпрыска, своего сына и внука-неудачника.

– Таня, как ты можешь такое говорить, – возопила бабушка, протягивая к нему руки. – Мой Петенька, мой ненаглядный Петенька! Я верю в нашего мальчика. Он не пропадет, не погибнет. Он сохранит в душе свет. Этот свет его сбережет. Он добьется своего. Он своего непременно достигнет, а мы будем молиться о нем, и если позовет, мы кинемся ему на помощь. Иди ко мне, Петенька, иди, я тебя поцелую!

Мука его была непомерна. Их любовь не отпускала его, возвращала вспять, погружала в цепенящую неподвижность, безволие, в котором ему предстоит оставаться всю остальную жизнь. И испытывая безумное страдание, беспощадную торопливость – к ним, к себе, к коврам на стене, к хрустальной чернильнице на столе, – он выхватил незримое лезвие, блеснул им перед лицом, отсекая себя от них. Вихрь из-под сердца развернул свою свистящую спираль, раскрутил его и кинул в сияющую бесконечность. Он отвернулся, чтобы они не видели его несчастного лица, и вышел из дома.

Теперь предстояло порвать с той, кого он именовал невестой. Близость с Мариной длилась почти два года, и чувство, которое он к ней испытывал, было из боли и сладости обожания. Из боли, потому что она превосходила его своим утонченным насмешливым умом, умея уколоть внезапной насмешкой, остановить порывы его красноречия и неубедительного пылкого разглагольствования. Из сладости – потому что он обожал ее зеленые, чуть навывкат глаза, в которых отражались московские огни, снегопады, ее пепельные ароматные волосы, в которые он погружался лицом, вдыхая аромат тончайших духов, холодных дождей, кленовых листьев. Они бродили в аллеях Царицына, он уводил ее в красно-белые стрелчатые развалины и целовал ее мягкие пухлые, млечно благоухающие губы. Летом уехали на ночной электричке в подмосковный лес, ушли от освещенной платформы, от пробежавших сквозь деревья огней электрички. Он опустил ее на холодную землю, и она, безропотная, почти бесчувственная, позволяла ему себя целовать, и он пережил моментальную, ослепительную в ночи вспышку счастья. С тех пор они думали о себе как о женихе и невесте. Их знакомые выспрашивали с лукавым благодушием, скоро ли свадьба.

Теперь Петр встретил ее у подъезда большого дома на проспекте Мира, и они спускались по Садовому кольцу к Самотеке, среди туманных пробегающих фар, шелестящих шин и огненных отражений. Он искал минуту, когда, собравшись с мужеством, произнесет свои жестокие, пресекающие их связь слова, и ее зеленые любимые глаза, исполненные изумления и боли, станут от него удаляться, исчезать среди московских огней и всплесков, чтобы навсегда исчезнуть. Шел, держа ее под руку, ожидая перебоя сердца, малого разрыва в непрерывном времени, чтобы ворваться туда со своим жестоким словом.

– Конечно, женщине лестно, когда ей посвящают стихи. И я не исключение. Твои стихи я не клала под подушку, но несколько раз прочитала, и, не скрою, они мне понравились. Но позволю на правах нестроого и любящего критика сделать несколько замечаний, – она смотрела на него со своей обычной милой усмешкой, в которой были ее изящная язвительность, чувство превосходства и нежность к нему. – Вот, например, это четверостишие. «Милая, я слишком часто грежу/ Красными лесами на заре./ Будто я иду по побережью/ Незнакомых и холодных рек». Недурно, романтично. Но ведь у рек не побережье, а берег. Побережье у моря, у океана. Маленькая неточность, и рушится весь стих. Обнаруживается отсутствие вкуса.

Он держал ее под руку, шагал невпопад, глядел на всплески и брызги автомобильных огней и искал крохотного зазора, малого промежутка в распавшемся времени, чтобы ворваться со своим ужасным известием.

– Или это весьма недурное двустишие: «Пусть покой сторожит твои двери/ И от них уведет череду/ Прошлогодних твоих суеверий/ И сегодняшних пасмурных дум». И дальше – «Только ночью, тоскуя о лете/, И о солнце мечту затаив/, Петухи на осеннем рассвете/ Подтвердят суеверья твои». Ведь речь идет о моих суеверьях, не так ли? Но, во-первых, нет никаких суеверий. Я обладаю ясным античным умом. И потом, откуда петухи? Разве есть на проспекте Мира петухи? Это слегка, я бы сказала, манерно...

Она заглядывала ему в лицо, ожидая увидеть его огорчение, задетое самолюбие поэта, чтобы потом, торжествуя, поцеловать его, сказать нежность, врачую его огорчение. Он не огорчился. Ждал перебоя сердца, разрыва времени, чтобы ворваться со своим сокрушительным словом. Не дать срастись времени, в котором они существуют вместе. Разлететься, чтобы больше никогда не встречаться.

– И прости мне мои назидания. Ведь мы же с тобой филологи, лингвисты, и особо чутко относимся к словам. Ты пишешь: «Сверчки – великие музыканты./ Каждый раз достают смычки/, Когда на стене от заката/ Красные горят язычки». «Язычки» – хорошо, образно. Но сравнения сверчков со скрипачами – это было много раз. Это, не сердись за резкость, избито. А поэзия не терпит штампов.

Впереди светофор жонглировал красным, желтым, зеленым огнем, оставляя на асфальте попеременно золотые, рубиновые и изумрудные мазки. И он мучительно загадал, что сделает ей признание, когда они приблизятся к светофору и под ногами у них окажется цветной, на черном асфальте, мазок.

– Ты не обижаешься на мои поучения? Мне действительно нравятся твои стихи. Если ты будешь много работать, станешь хорошим поэтом.

Красный шар светофора погас, унося с собой рубиновое отражение. На асфальте появилось размытое золото, а потом яркая сочная зелень. Они наступили на этот влажный изумрудный мазок. Он видел, как туфли ее стали зеленые, и, чувствуя, что признание его через мгновение станет невозможным, произнес:

– Я должен тебе сказать, я уезжаю, – и произнеся это, почувствовал слабый треск разрываемого времени, оборванные концы которого свертывались, закручивались, их отдаляло, уносило в разные, бесконечно удаленные стороны.

– В самом деле? Куда же? – рассеянно спросила она. – Когда вернешься?

– Никогда. Уезжаю насовсем. Мы больше с тобой не увидимся.

Она отступила от него, всмотрелась, шуря свои большие насмешливые глаза, готовая отпустить очередную колкость. Но услышанное вдруг стало открываться ей, и она испуганно и беззащитно спросила:

– Почему навсегда? Почему не увидимся?

И он торопливо, сбивчиво, с пересекающимся дыханием, говорил, торопясь сказать такое, что делало невозможным отступление, обратно, по другую сторону зеленого мазка:

– Я решил. Мне нужно уехать. Пусть это выглядит безрассудно. Я решил порвать с Москвой, с работой, с домашними. А теперь и с тобой. Понимаешь, у меня другая судьба. Я уеду в леса, скроюсь, как пустынный, и буду писать мою книгу. Я должен ее написать.

– Но почему мы не можем уехать вместе?

– Невозможно, я должен один. Труд всей моей жизни. Буду жить в деревне, с простыми людьми, которые ничего не знают о моем прошлом. Стану зарабатывать на хлеб простым крестьянским трудом, или трудом лесоруба, или лесника. И писать мою книгу.

– Но ты не можешь так поступить. Это безумие. Нас столько связывает... Мы уже повенчаны. Мы не должны расставаться.

– Я знаю, это жестоко с моей стороны, даже подло. Но ты поймешь. Ты всегда понимала возвышенные побуждения. Мною движет не честолюбие, не погоня за славой. Это судьба, вихрь, который в меня вселился, странный и загадочный зов. Будто кто-то свыше уверяет меня в моем предназначении, наделяет меня неповторимой судьбой, обещает чудо. Не знаю, в чем это чудо, но мне его обещают.

– Чудо, это когда два человека любят друг друга. Когда у них рождаются дети. Когда вдвоем они спасаются от разрушительных и жестоких сил, берегут семью, детей. Разве ты можешь так разом разрушить все, что нас связывает?

Та студенческая вечеринка, где они познакомились и он увлек ее, отобрал у долговязого, в очках филолога, который был в нее влюблен. Их прогулки по Москве, исполненная остроумием игра, в которой они состязались в молодом острословии, в вычурных и виртуозных высказываниях, дразня и восхищая друг друга. Домик Васнецова с тяжелой открытой калиткой, зимним палисадником, на который из желтого резного окна льется волшебный свет, и он обнимает ее, ласкает под шубой ее горячую грудь, жадно, до помрачения целует ее пухлые губы, ее закрытые глаза, ловит под варежкой ее тонкие чудные пальцы. Их близость у нее дома, когда не было ее домочадцев, и за окнами плескал и шумел московский дождь, и в открытое окно залетел зеленый свет фонаря, окруженного распустившимися тополями. И ослепительная, много раз повторяемая вспышка, уносящая их в сладкую и ужасную бесконечность, после которой они лежали неподвижные и пустые, как две раковины на отмели. Сколько было нежно-

сти, восхитительных мечтаний, стихов. Сколько было молодых торопливо произносимых слов, которые приближали их к последнему признанию, к последнему откровению, после чего они станут неразлучны. Теперь весь этот восхитительный, казавшийся драгоценным мир отлетал, и это он сам оттолкнул его, в своем слепом разрушительном порыве.

– Ну, хорошо, ну, поезжай. Пиши свою «Голубиную книгу». Я стану тебя навещать, разделю твои труды.

– Это невозможно. Мне нужно быть одному.

– Ну, будь один. Напиши свою книгу и возвращайся. Я буду тебя ждать, как ждали ушедших на войну.

– С этой войны я не вернусь. Ты меня не дождешься.

– Но, может быть, ты одумаешься. Твое наваждение пройдет.

– Это не наваждение, и оно не пройдет.

Ее лицо казалось несчастным, с маленькими горькими складками у губ. И эти складки становились глубже, темней, и лицо ее, такое очаровательное, милое, вдруг постарело, в нем появилась жестокость, словно проступили черты ее будущей старости. И она, отпуская его, отвергая, мстя напоследок, так чтобы этой мстью причинить ему непроходящую боль, сказала:

– В тебе всегда ощущались вероломство и зыбкость. Твой образ всегда двоился, как отражение на воде. Ты одержим безумной идеей, в жертву которой приносишь истинные человеческие чувства. Ты никогда не станешь писателем, для этого у тебя нет дарования. Ты изнасилуешь свой маленький талант, и он умрет, как выкидыш. Неудачником, уязвленным, несчастным, ты вернешься из лесов в Москву, будешь искать свое прошлое, но не найдешь. Ты столько людей делаешь несчастными, столько людей обманул, что они будут бежать от одного твоего вида и голоса. Не ты от меня уходишь, а я от тебя ухожу. Не смей! – воскликнула она, когда он хотел тронуть ее руку. – Не смей ко мне прикасаться! Ненавижу! – И она ушла, исчезая в огненных всплесках. А он стоял под дождем, чувствуя освобождение, и в этой открывшейся свободе раскручивался вихрь, брал его на свои свистящие лопасти, уносил из Москвы.

Он уезжал из города на утренней полупустой электричке. В его потертом вещевом мешке были уложены матерью теплое белье и носки. Упакованные бабушкой бутерброды. Там лежало несколько книг. На крюке у окна висел брезентовый чехол с разобранной двустволкой, и он, прислонившись головой, чувствовал металлический ствол. Он смотрел, как желтеют деревянные вагонные лавки, как за тусклым окном плывут угрюмые заводы и склады, и в черном небе багрово горит предпраздничная неоновая надпись «45 лет Октября».

ГЛАВА 2

После городских треволнений, мучительных объяснений с друзьями и близкими он вдруг оказался среди огромной, сумрачной красоты осенних лесов, в которых витали молчаливые могучие духи русской природы. Теперь он работал в лесничестве лесным объездчиком. У него не было лошади. Леса, отданные ему в опеку, он обходил пешком, по лесным разбухшим дорогам и туманным просекам, часто плутая, забредая в непролазные чащи, выходя к незнакомым опушкам. Оттуда открывались мглистые, красно-золотые пространства, серые, затуманенные дождями деревни, таинственные иконостасы и нимбы. Среди них реяли едва различимые духи, их прозрачные крылья, их невесомые тела. И он, закинув за плечи двустволку, созерцал перемещение этих загадочных существ, молился на иконостасы лесов, чувствовал свою молодость, одиночество и свободу как ниспосланную благодать.

У него в подчинении находилось пять лесников, живших в пяти окрестных деревнях. Это были зрелые деревенские мужики, повидавшие войну, тертые жизнью, суровые философы, смышленные хитрецы, бражные. Они восприняли его появление как необременительную странность, не слишком досадную случайность, которая не помешает их заработкам, охотам, лесным, с бутылкой водки, посиделкам, когда они обмывали с артелью заезжих лесорубов вырубку дровяной делянки, получая с этой делянки неучтенный навар.

Он поселился в селе Красавино, на берегу речки Вери, темной от дождей, что петляла среди луговин и холмов, с мостом, голыми ивами, черным, разбитым копытами берегом, куда летом выходило на водопой стадо.

Хозяйка старенькой, с латаной крышей избушки, взявшая его на постой, маленькая, быстрая, с веселым говорком тетя Поля, была стареющей вдовой, как и ее подруги, не дождавшиеся с войны мужей. Она пустила Суздальцева за скромную плату, составлявшую половину его более чем скудного заработка. Отвела ему за перегородкой место, где помещалась высокая железная кровать, утлый стол, белела своим известковым боком русская печь.

– Будем жить, Петруха. От тебя дрова и квартирные, от меня капуста, картошка. Глядишь, ты из леса зайца или рябчика принесешь. А нет, курочки яичко снесут. Живи на здорье.

И он зажил новой, незнакомой жизнью, чувствуя, как все еще болят и мучают отломленные и отсеченные связи. Временами пугался этой новизны, но этот испуг сменялся восторженным ощущением воли, ожиданием восхитительного будущего.

Теперь он шел через туманное поле. Его клеенчатый плащ блестел от дождя. На плече висела двустволка, из которой за всю неделю он не сделал ни единого выстрела. В брезентовом рюкзаке болталось клеймо – стальной двусторонний молоток с рельефной звездой и пятизначным номером, которые давали клейму статус государственного знака. Знак ударом наносился на срубленное в лесу дерево. Там же, в рюкзаке, помещалась мерная линейка, которой замерялась толщина ствола, определялся объем древесины.

Он шел в лес, где поджидали его лесники у груды спиленных бревен, которые надлежало обмерить, заклеить, погрузить на трактор и отправить в лесничество. Там распродать драгоценный товар на строительные нужды окрестных совхозов. Это было первое, полученное от лесничего задание, и он торопился, чтобы прилежно его исполнить.

Он шел через просторное поле, по рыжей стерне, чувствуя сырую мякоть земли. Лес из тумана медленно приближался, молчаливый, тревожный, наблюдавший за ним множеством таинственных глаз. Туманные деревья вышли на край поля и наблюдали за ним. Темно-синие, фиолетовые, огненно-желтые, красные, они казались загадочным племенем со своими царями, князьями и пастырями. Смотрели, как он приближается. Безмолвно вопрошали – кто он такой,

чего ждать от его появления. Он обращал к ним свое разгоряченное ветром лицо, убеждал их, что в его помыслах была одно добро.

Петр приблизился к стоящим на опушке березам с легчайшей, оставшейся на них позолотой. Березы расступились и пустили его в туманный сумрак с проблесками тихого света. Осины тянули в небо сизые стволы с голыми рогатыми вершинами. Листва, золотая и красная, устилала подножья осин, густо, тяжело шуршала под ногами. Он зачерпнул с земли сырой ворох, окунул в него лицо и дышал, вкушал чистые грустные ароматы. Чувствовал на щеках их круглые отпечатки. Осыпал себя этим ворохом, и листья приклеились к его груди, как золотые медали.

Громadne ели с черными шершавыми стволами протянули ему свои зеленые руки для поцелуев, как торжественные великанши, оказывающие ему милость. И он целовал их персты, усыпанные каплями дождя, похожими на холодные бриллианты. Густой темно-зеленый мох был пропитан водой, как губка, и в нем краснела череда мухоморов, словно кто-то брызнул кистью и оставил сочные, все уменьшающиеся красные кляксы. Он тронул красную, в белых крапинах, шляпку гриба, передавая прикосновением свою нежность. Услышал быстрый трепетный звук, удалявшийся в елках полет. Это рябчик покинул еловую ветку, перелетел на другую, забился в хвою. И не было желания стянуть с плеча ружье, красться по мхам, отыскивая в вышине рябую серую птицу. Было довольно услышать ее полет, знать, что где-то рядом бьется ее испуганное малое сердце.

Лес клал ему на голову тяжелые лапы, осенял высокими крестами, окроплял блестящими каплями. Принимал в свои туманы и чащи. Вешал на грудь ордена и медали.

Среди сырых и холодных запахов заструился запах табака. Послышались голоса. Раскисшая дорога повернулась, и он увидел синий трактор, въехавший в колею, прицеп с отброшенными бортами, груды распиленных, с одинаковыми круглыми срезами бревен, и на них – лесников в телогрейках, куртках, вязаных свитерах, в резиновых и кирзовых сапогах.

– Начальство идет, – хмуро хмыкнул лесник Одинокоев в потертой «легческой» куртке и мятой кепке, обратив к Суздальцеву помятое синеглазое лицо, исполненное пренебрежения – не к Суздальцеву, а ко всему суетному, не заслуживающему внимания бытию, среди которого он по недоразумению оказался.

– Андреич, долго спишь! – Лесник Ратников, тучный, с толстым животом и смеющимися заплывшими глазками был в телогрейке и мятой фетровой шляпе, к которой прикоснулся при появлении Суздальцева, изображая мнимое к нему почтение.

– Небось Пелагея Каверина ему свою постель уступила. На перине у бабы сладко спать, – со знанием дела заметил лесник Полунин, с малиновым румянцем на скуластом лице, воловьими глазами, разделенными коротким с большими ноздрями носом. На голове его красовалась фуражка лесника с бархатным зеленым околышком и дубовыми ветками.

– Че зря брешешь, – осудил его лесник Капралов, дико сверкнув стеклянным вставным глазом, перебросив с места на место негнушущуюся, с протезом, ногу. – Пелагея Каверина вдова; в матери, а то и в бабки ему годится.

– Какая барыня ни будь, все равно ее ебут. – Одинокоев презрительно сплюнул, выставив нижнюю, с простудной болячкой губу, а Суздальцева обожгла эта циничная присказка, казалось, произнесенная специально для него, чтобы уязвить и испытать его, городского чистюлю, ниспосланного им в начальники.

– Ладно, Андреич, все брехня. Давай клейми. – Лесник Кондратьев, серьезный и озабоченный, похожий на толстенького хомячка с синими бисерными глазами, желтыми резцами на небритом лице, казалось, заслонял Суздальцева от иронии и тайной неприязни мужиков, не готовых подчиняться городскому юнцу, поставленному надзирать за ними.

Тракторист с измызганными масляными руками сидел поодаль, курил сигарку, выпуская дым, вяло улетающий к сырым вершинам.

Суздальцев чувствовал, что подвергается испытанию, что каждый его взгляд и движение исследуются, берутся на заметку. Лесники решали, как обходиться с этим молодым чужаком, – смириться, принять в свой круг, погрузить в свои мужицкие дела или отвергнуть, заслониться от него стеною циничных шуток и презрительных насмешек, делающих невозможным их общение.

Суздальцев извлек из рюкзака мерную линейку, клеймо на длинной рукоятке. Подошел к торцам спиленных сосновых бревен и, чувствуя зоркие испытующие взгляды лесников, размахнулся клеймом и ударил в торец. Звук удара прошел сквозь ствол и, казалось, излетел с противоположной стороны звонким хлопком. От удара остался отпечаток звезды, помещенной в круг, и второй удар запечатлел рядом круг с пятизначным числом. Сосновый торец, янтарно-желтый, был взят на учет, и он, Суздальцев, был представитель государства, пресекавший всякую попытку воровских незаконных порубок, направлявший каждое спиленное дерево в копилку рачительного государства.

Он держал длинную рукоятку увесистого литого клейма. Размахивался, прицельно бил от торца к торцу, и лес гулко откликался на его меткие звонкие удары. Лесники смотрели, не делая замечаний, молча одобряли его работу.

– Ну, давай, измерь кубометры! – торопил Кондратьев, когда все бревна получили тавро. – Кубов шесть будет.

Суздальцев раздвинул мерную линейку, помещая в нее кругляки бревен, зажимая между рейками чешуйчатый красно-смолистый ствол. Снимал размеры, умножал на длину, записывал столбиком результаты обмеров в блокнот. Лесники за ним наблюдали. Он замечал их пристальную зоркость, настороженное беспокойство, придирчивый, недоверчивый взгляд. Не понимал еще причину этого молчаливого зоркого слежения.

– Сколько? – спросил Ратников.

– Восемь с половиной кубов, – ответил Суздальцев, готовясь записать результат в накладную.

– Пиши шесть, – сказал Ратников.

– Почему? – удивился Суздальцев.

– Два с половиной куба спишем. Сережка Кондратьев избу ставит. Ему отдадим два куба.

Лесники молча обступили его, Сергей Кондратьев мигал синими пуговками глаз, нервно щурился, открывая желтые кроличьи резцы. Суздальцев понимал, что подвергается испытанию, мучительному искушению: сохранить ли за собой роль блюстителя государственных интересов, хранителя символа государственной власти, отпечатавшего на сосновых бревнах пятиконечную звезду, – или перейти на сторону этих тертых жизнью, измятых войной, деревенской заботой мужиков, которые находились в невидимой непрерывной борьбе с государством, пытаясь выскользнуть из его цепких безжалостных рук. Ему предлагалось выбрать между этими мужиками и государством, обмануть государство и уступить мужикам малый ломоть государственной собственности. Он выбирал между государством, доверившим ему клеймо со звездой, и мужиками, просившими его о незаконной услуге. И мучаясь, неуверенный в своей правоте, он выбрал мужиков, их телогрейки, измызганные сапоги, их синие глаза на утомленных плохо выбритых лицах.

– Пишу шесть кубов, – сказал он и заполнил накладную. Лесники облегченно вздохнули.

– Спасибо, Андреич, – сказал Кондратьев, жадно оглядывая бревна, часть из которых перекочет в его деревню, и он с помощником оседлает красный ствол и плотницким топором станет шкурить, отесывать, звонко сбивать остатки сучков, откатывая обработанные бревна к тем, что лягут венцами в его новый дом.

– Давай, мужики, грузить, – весело крикнул Ратников, подмигнув Суздальцеву и стал подхватывать комель бревна. – Давай, Андреич, с другого конца.

Суздальцев ухватил бревно, вместе с Ратниковым они подняли его, тяжело, мгновенно покраснев лицами, перенесли к тракторному прицепу, вкатили и толкнули, слыша, как хрустит, перекатывается по днищу кузова бревно. – Красный лес, самый лучший для дома, – сказал Ратников, стяхивая с темных ладоней чешуйки коры.

Лесники хватали бревна, грузили в трактор, закатывали в глубину, натужно ахали, подбдривали друг дуга. Суздальцев работал со всеми, пачкался смолой, напрягал что есть силы свои молодые мускулы, старался не уступать корявым, сильным, умелым мужикам. Радовался тому, что принят ими в их круг, совершает вместе с ними тяжкую, артельную работу. Устает в этой работе, приобщается этой работой к трудам и заботам людей. Эти русские люди населяли темные деревни, окруженные родными лесами, любимыми реками, сырыми проселками, по которым он вышел в свой путь, загадочный и прекрасный.

– Хорош, – крикнул Одинокоев, отпуская комель последнего, венчавшего груды бревна. – Закрепляй, – кивнул трактористу. Тот цепями стал приторачивать смоляные стволы, охватывая их блестящими звеньями.

Трактор, вихляя колесами, укатил, унося с собой запах дыма и пиленого леса.

– Давай, доставай, – Ратников важно указал Кондратьеву, кивая на лежащий у пня вещевой мешок. Кондратьев послушно заторопился к мешку, развязал тесемку. Выложил на землю, на палые листья две бутылки водки. Положил на пень коричневый крендель краковской колбасы, буханку хлеба, извлек граненый стакан. Перочинным ножом стал кромсать хлеб, отсе-кать грубые куски колбасы. Лесники старались не смотреть в его сторону, не замечать тусклый блеск лежащих на земле бутылок. Кондратьев зубами содрал пробку с бутылки, поднял стакан:

– Подходи.

Подшли, обступили, сурово поглядывая, как Кондратьев булькает водкой, наполняя стакан до невидимой, ему одному понятной черты, – так, чтобы водка досталась всем поровну. Он держал стакан своими задубелыми темными пальцами, оглядывая круг, и первым из всех протянул его Суздальцеву. Это была ему благодарность. Было его посвящение. Ему оказывали почести, признавали его своим, доверяли ему, больше не считали чужаком. Он принял стакан, и, чувствуя, как смотрят на него глаза лесников, как двигаются их кадыки, стал глотать обжигающую горечь, боясь подавиться. Допил, звякнув зубами о стакан, проливая за ворот не помещившуюся в рот струю. Ему протянули хлеб, ломоть колбасы, и он жадно жевал, чувствуя, как горит в нем невидимый факел.

Стакан наливали, передавали по кругу, заедали молча, сумрачно, прислушиваясь к чему-то назревавшему в них. И потом вдруг разом заговорили, возбужденно, восторженно, не слушая друг друга, каждый о своем, сливая голоса в единый гул, словно перед каждым был невидимый собеседник, с которым они вели свой страстный разговор.

– Витька Коростылев встречает меня: «Ну, вы, короеды, у вас на каждом суку бутылка висит. К вам без вина не являйся». А я говорю: «Ты пойдешь в лес, поищи те бутылки. Найдешь, все твои».

– А вот я замечал, что в сельпо, в Красавино, белое вино вроде крепче. Везде одна бутылка, одна цена, один вид. А вкус не тот и сила разная. Я лучше пять километров в Красавино пройду и там отоварюсь. Чтобы выпить и почувствовать.

– На кабана лучше идти по снегу. С егерями сговоримся, и будет холодец. Его, кабана, лучше бить в левый бок, под сердце.

– А он мне говорит: «Ты мне лучше трактор дров привези, я тебе не деньгами, а вином отдам».

Они гудели, щеки красные, подбородки небритые, глаза ярко-синие. Суздальцев слушал их бестолковый гомон. Чувствовал, как в теле бегут горячие счастливые струйки, собираются в горячий единый свет. Словно в голове всходило яркое солнце, лес раздвинулся, расширился, посветлел насквозь. Ему было хорошо среди этих гомонящих людей, которые взяли его к себе,

поделились хлебом и водкой, и он их любил, любил этот лес, осину с сизым стволом, пустые кроны берез и летящую в них синекрылую сойку. Он был молод, свободен, счастливо пьян, и солнце в золотых и багряных кругах вставало в его голове.

Еще погалдели, потоптались, с сожаленьем смотрели на пустые, лежащие на листьях бутылки. И пошли по дороге в близкую деревню Мартюшино допивать недопитое. А он кинул на плечо двустволку, забросил за спину рюкзак с клеймом и линейкой, пошел по дороге, глядя на колею с черной водой, по которой ветер гнал мелкие золотые листочки.

Он выбредал из леса, слыша, как шелестит в последней листве мелкий дождь, как мочат его горячее лицо крохотные холодные капли. Отметил, что шорох стал тише и мягче. Увидел в голых вершинах косую, летящую из неба бахрому. Подставил ладонь и поймал на нее мокрую рыхлую снежинку, которая таяла, уменьшалась, превращаясь в мелкую каплю. Мокрый снег летел над лесом, белесо туманя вершины, и Петр радовался этой перемене, первому снегу, который был ниспослан ему среди золотых и красных лесов. Когда вышел на опушку, снег повалил гуще; небо закрылось, все погрузилось в холодную летучую материю, сквозь которую он проносил свое горячее лицо, ловя снег губами. Он стоял на границе леса и поля, мокрой листвы и бурой колючей стерни. Чувствовал переход от тесных лесных стволов к просторной пустоте поля, в которой летал первый снег. Остро улавливал невидимый перепад, где одно время года менялось на другое, и осень становилась зимой. Этот перелив одного состояния мира в другое волновал его своим извечным круговоротом, куда он был вовлечен. Эта граница проходила по его счастливому сердцу, радостно раскрытым глазам, в которых было белым-бело и светлым-светло.

Он услышал в снежном облаке трескучее щелкающее карканье и свистящий визгливый клекот. Две тени металась в метельном небе. Две птицы сталкивались, били друг друга, а потом разлетались. Приближались к нему, и он увидел большого черного ворона и ржаво-красного сокола. Сокол взмывал, пропускал под собою врага, а потом камнем падал, ударял когтями и клювом. Ворон уклонялся от ударов, нырял к земле, тяжело летел, а сокол вновь повторял свою атаку, взмывал и бил на лету. Ворон останавливался в небе, бил крыльями, открывал черный тяжелый клюв. Сокол выставлял вперед когтистые лапы, драл, вонзал клюв. Из обоих летели перья, и в косых белых хлопьях раздавались злобное карканье и свистящий ненавидящий клекот.

Суздальцев смотрел восхищенно. В битве птиц было нечто сказочное, волшебное, из былин, из старинных песен – притча о вечной схватке добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, лета и зимы. Перед ним в небесах оживали сказочные картины Билибина, резьба на каменных русских соборах. Русское, заповедное, вещее чудилось ему в этой небесной битве, и он ждал, что птицы упадут к земле, обернутся черным и красным витязями, черным и красным жеребцами и продолжат свой бой среди первого снегопада. Шел через поле, слыша, как удаляются в метели воронье карканье и злой соколиный клекот.

Уже в сумерках, бодрый, голодный, вернулся в село. У крыльца стояла железная бочка, полная воды. В темном водяном круге плавал резной ярко-желтый кленовый лист. Суздальцев залюбовался листом. Смотрел, как летят из неба снежные хлопья, касаются бочки и гаснут. Вода едва заметно трепетала от бесчисленных, прилетавших из неба поцелуев. Он скинул в сених резиновые, в липкой глине сапоги. Повесил на старый кованый гвоздь ружье и рюкзак. Вошел в избу. И был изумлен увиденным. В избе, наполняя горницу, при ярком свете голой электрической лампочки стояли четыре женщины, соседки из дальних и ближних домов. В платках, коротких плюшевых пальтишках, ноги в теплых вязаных носках. Все они выстроились в очередь от дверей, где стояли их мокрые калоши и сапожки, обращенные к середине избы. В руках у них были петухи – золотые и зеленые груди, синие с медным отливом хвосты, огнен-

ные набрякшие гребни. Мерцали тревожно и зло рубиновые круглые глазки. Женщины прижимали птиц к груди, как прижимают младенцев. Их лица были серьезны, задумчивы, почти молитвенны, словно они явились с петухами для совершения загадочного языческого обряда. Перед ними на полovice стояла тетя Поля, в новой кофте и синем платке, необычно строгая, важная. Держала в руках лампадку с маслом, ржаной ломоть. Черный кот запрыгнул на кровать и оттуда смотрел зелеными огненными глазами.

– Ты, Пелагея, куриный дохтур. Ты скажи, отчего петухи враз во всей деревне заболели. Или зерно отравленное купляли? Или птичья простуда? Или кто сглазил? Может, Анька Девятый Дьявол? – говорила одна, долгоносая и худая, приподнимая птицу, отчего по птичьим перьям прокатилась волна красно-золотого света.

– Им зерно сыплешь, они не клюют, отворачиваются. Три дня ни зернышка не склевали. От кур уходят. Мой сегодня с насеста свалился. Думала, помрет, – говорила другая, кругленькая, с малиновыми щечками, с голубыми стекляшками в ушах. Наклонилась к петуху, и птица дрогнула гребнем, закрыла веком и вновь открыла маленький багровый глаз.

– У моего нынешним летом тиун вскочил, так ты, Пелагея, спасибо тебе, сняла тиун. А он, вишь, опять вскочил. Помоги, – женщина схватила петуха за клюв, растворила, и обнаружился острый исходящий из зева язык, обложенный известковым налетом. Птица сердито освободила клюв, нацелилась на хозяйку мерцающим злым глазком.

Тетя Поля, важная и всеведущая, слывшая деревенской знахаркой, поучала пришедших к ней на поклон соседок.

– Может, простуда, может, зерно отравленное, а, может, и Анька Девятый Дьявол сглазила. Она кого хошь сглазит. Вы как с ней повстречаетесь, так незаметно крестик на себя положите и про себя скажите: «Господи, помилуй». Она маво Ивана Михалыча, когда жив был, сглазила. У него кости стали болеть. Я над Иваном Михалычем десять ден молитву читала. Подняла с постели.

Женщины смотрели на тетю Полю с тревогой и благоговением, признавая за ней недоступные им целительные силы, тайное знание, к которому они прибегали, изверившись в советском ветеринаре.

Суздальцев, уйдя в свой закуток за печкой, сквозь щель в занавеске смотрел и слушал, удивляясь своей хозяйке, которая из маленькой, хлопотливой, измученной заботами женщины превратилась в таинственную ворожею, целительницу, занятую колдовским врачеванием.

Тетя Поля взяла ломоть ржаного хлеба. Поднесла к губам, закрыв хлеб ладонями. Стала в него дышать, тихо бормотать, приговаривать, вдувая в хлеб слова слабо различного заговора. Суздальцев улавливал в ее бормочущем речитативе что-то про «бел горяч камень», про «Алатырь остров», про «Святую Богородицу».

– Чтобы порчу снять, отвести дурной глаз, отженить болезнь. Хворь-болезня уйди в сыру землю, в сине море, в горяч камень.

Она бормотала бессвязно и истово, утончаясь, становясь моложе и легче, превращаясь из пухленькой, седой, с мясистым лицом женщины в ушколицую ведунью, тонконосую гадалку, страстную ворожею. Глаза ее стали круглыми, птичьими, нос казался заостренным клювом. Она приподнималась на носки, стараясь взлететь. Петухи зачарованно смотрели остановившимися мерцающими глазами. Кот на кровати страстно полыхал изумрудами. Женщины, держащие птиц, испуганно и покорно внимали, отдавая своих петухов и себя самих во власть деревенской колдуньи, повелевавшей духами. Суздальцев чувствовал, как в избе происходят перемены. Потолок уходит ввысь, стены расступаются, вокруг голой электрической лампы начинают вспыхивать разноцветные радуги. Казалось, тетя Поля оттолкнулась от половиц и висит, не касаясь пола. Ее речь становилась глуше, бессвязней. Ей не хватало сил и дыханья. Она сунула в рот ржаной мякиш и жевала, мотала головой, приговаривала. Вдруг схватила близкую к ней птицу за голову, растворила клюв с заостренным, в мучнистом чехле языком.

Поддела чехол ногтями и дернула, срывая нарост. Брызнул кровью, задергался окровавленный птичий язык, а целительница плеснула в клюв из лампадки липкое масло, выхватила изо рта разжеванный мякиш, залепила рану. Сомкнув клюв, держала, дула на птицу. Петух не вырывался, тоскливо и обреченно смотрел страдающим глазом, и его гребень стал еще краснее от боли. Тетя Поля схватила клюв второй птицы, соскоблила больной нарост, язык брызнул кровью, петух захлопал крыльями, вырываясь, но ему в горло плеснуло лампадное масло и рану залепил разжеванный хлеб. Тетя Поля дергала птицу за клюв и дула ей в глаза. То же она проделала и с остальными петухами.

Изможденная, усталая, села на табуретку, маленькая, с мясистым лицом, женщина, составившаяся среди бед и несчастий.

– Три дня зерна не давать, только воду. К курам не пущать, держать отдельно. Через неделю запоют.

Она держала на коленях усталые крестьянские руки, освещенные голым светом электрической лампы, и Суздальцев не понимал, правда ли изба превращалась в языческое капище и колдовскую молельню, или это ему пригрезилось.

– Спасибо тебе, Пелагея. Благодарим тебя, чем бог послал.

Они выкладывали из карманов пальтишек куриные яйца, завернутый в тряпицу шмоток сала, мятые деньги. Пятясь, совали ноги в калоши и сапожки. Уходили из избы, уносили птиц. Суздальцев представлял, как идут они гуськом по деревенской улице, и в руках у них, как разноцветные сосуды, сияют петухи.

И снова тетя Поля была маленькой, шустрой, смешливой, расторопно постукивающей половицами. Встречала вернувшегося из леса Суздальцева.

– Как, охотник? Пустой пришел?

– Никто не попался, тетя Поля. Только ворон да сокол.

– «А зачем нам волки? Мы лисиц бивали, а таких красавиц нигде не видали», – пропела она нестройным увядшим голосом.

– Что за песня?

– Охотничья. Как охотник в островах гулял, ну и натолкнулся на поляну, где лежит девица на сочной траве. Она, значит, испугалась. А он говорит: «Не бойся. Поедем, красавица, в лагерь гулять». Ну и поехали, и нагулялись.

– А скажи, тетя Поля, почему такое имя дали – Девятый Дьявол?

– Анне-то Зыковой? А больно страшной стала. Ты ее видел; идет, голова к земле, а горб выше головы. Клюка, как у ведьмы.

– Правда, что ли, колдунья?

– Какая колдунья? Несчастливая. Она в молодости красивая была и бедовая. Все мужики на нее оглядывались. Мой Иван Михалыч с ней начал гулять. Я видела, ничего не говорила, только плакала. Она сама его отослала. «Иди, говорит, к своей Пелагее. Не буду разлучницей». Перед войной замуж вышла за землемера. Неделю прожила, его на войну забрали. Там и пропал без известий. А Анька зимой в прорубь бросилась, едва вытащили. Но кости простыли, и ее повело и скрючило. Теперь горбом в небо смотрит.

Все это она говорила на ходу, снимая с керосинки черную масляную сковороду, на которой шипела картошка с луком. Мигом сбегала в сени, зачерпнула миской из ведра квашеную капусту. Отхватила от подаренного сальца два ломтя, и они вместе ужинали под голой электрической лампой, и деревенская еда казалась ему необычайно вкусной, а краткий Полин рассказ об Анне Зыковой погружал его в неведомый мир деревни, где ему предстояло прожить не один день.

И вот наступил долгожданный и пугающий час, ради которого он покинул московский дом, расстался с невестой, отверг увлекательную, сулившую преуспевание работу. Тетя Поля убрала со стола, подтянула в ходиках цепочку с гирькой. Выключила в горнице свет. Пошептала пред иконой с зажженной лампадкой тихую молитву и улеглась на свою высокую, с железными шарами, вдовью кровать, слабо охая и вздыхая. Суздальцев ушел за перегородку, в каморку, оклеенную голубыми, в рыжих цветочках обоями. Здесь белела, остывая, печная стена. Стояла постель под стеганым красным одеялом, стол под клеенкой, освещенный свисавшей с потолка электрической лампой. Из прямоугольной консервной банки Петр соорудил абажур, и белый квадрат света падал на стол, где лежал томик Бунина, принесенная из леса еловая шишка и стопка ослепительно-белых листов, на которых он выведет первые строки своего романа.

Был тихий и возвышенный час. За оконцем в ночи реяли духи близкой зимы. Расстились пустые поля и черные мертвеющие леса, а он сидел в тесной каморке, у беленой печи и готовился нанести на бумагу первую строчку.

Роман, который он замыслил, был не продуман, не ясен, должен был рождаться под его пером во время посещающих его вдохновений. Роман был о русском страннике, о мечтательном путнике, который покинул родные края. Отправился в путь, влекомый мечтой о теплых морях и волшебных заморских странах, о дивных дворцах и мечетях, о райских садах и кипящих базарах, о красавицах, скрывающих дивные лица под темной накидкой, о воинах, летящих в блеске оружия на горделивых конях. Это был роман о русском мечтателе, одержимом мечтой о Востоке, куда уводили караванные пути и где ожидало его несказанное чудо.

Горстка пластмассовых, с цветными чернилами ручек лежала на столе. Он выбрал черную, приблизил к листу бумаги и замер, слыша, как восхитительно расширяется его сердце. Что-то приближалось к нему, разноцветное, как восточный витраж, драгоценное, как персидский ковер, готовое радугой пролиться на белый бумажный лист.

Он услышал чуть слышный шелестящий трепет, как если бы где-то рядом, невидимая, пульсировала крыльями стрекоза. Этот трепет пребывал в его сердце, а также в кончиках пальцев, которые слышали легчайшие биения. Это приближалась строка, как крохотная струйка, копилась в пальцах, готовая истечь на бумагу. Не истекла, а стала набухать, тяжелеть. Звук усилился, стал звонче и выше. Это роман летел к нему на звенящих крыльях, готовый брызнуть радостным многоцветьем, пленительной красотой и счастьем. Звук приближался, становился гуще и злей, в нем начинали звучать металлические рокоты и удары. И вдруг, прорывая бумажные обои с цветочками, проламываясь к нему за перегородку, просунулась грохочущая, в дыму и огнях труба, вдувая свирепый рев, запах расплавленной стали...

Транспорты, вращая винтами, звенели на бетоне. Проекторы били в ночи по алюминиевым фюзеляжам, дымным бронемашинам, шеренгам солдат, навьюченных мешками и оружием. Боевые машины, пятясь, въезжали по аппарели, погружаясь в самолетное чрево. Их крепили цепями к днищу, цепляли за стальные крюки. Батальон, под окрики командиров, бежал к самолетам, грохотал по железу, втягивался в глубь фюзеляжей. Солдаты рассаживались вдоль бортов на железные лавки, стягивали мешки и оружие. Он сидел, стиснутый с обоих боков молодыми телами. В полутьме, над входом в кабину светили два сигнальных огня, зеленый и красный. У глаз тускло блестела стальная гусеница машины. Он слушал звоны винтов, ловил запах металла и встревоженных человеческих тел и думал, что война, на которую их посылают, уже захватывает их в свои жестокие объятия, и их невозможно разять.

Самолеты взлетали один за другим в темное беспросветное небо, шли над тусклым хребтом, и только за чертой облаков вдруг открылась темная синь, в которой пылала круглая большая луна. Самолеты шли на луну, и ему казалось, что война, на которую их посылали, будет проходить на луне среди кратеров и сухих морей, и их могилы покроет пепельная лунная пыль...

Суздальцев ошеломленно отпрянул. Перед ним лежал лист бумаги, исписанный его нервным скачущим почерком. Почерк был его, но записанный текст принадлежал не ему, родился не в его воображении. Его рукой, его зрачками, его фантазией двигала ворвавшаяся чужеродная сила, не имеющая к нему отношения. Почерк хранил следы насилия; некоторые из строчек выгибались, отталкивались друг от друга, словно между ними вздувался пузырь.

Это было необъяснимо. Он смотрел на синие обои с цветочками, откуда дунуло в него металлом и грохотом, но обои были целы, усыпаны наивными цветочками, и ничто не говорило о недавнем вторжении. Он размышлял об этом странном вторжении и объяснял его неразгаданными явлениями психики, когда один разум случайно настраивается на волну другого, получая возможность читать чужие мысли. Быть может, в этот ночной час в ином месте за письменным столом сидел неизвестный писатель. Это его текст был вырван из канвы его романа, ворвался к Суздальцеву, заставил судорожно биться его руку, записывать не принадлежащие ему мысли. И он сидел, глядя на текст, размышляя, нельзя ли послать его настоящему автору, направить обратно по беспроводному телеграфу, вернуть чужое творение, поместив в канву чужого романа. Но почему он чувствовал запах металла и смазки? Почему видел над башней машины два сигнальных огня, зеленый и красный? Почему его плечо упиралось в плечо худого молодого солдата? И откуда эта подлинная, щемящая тоска, как если бы и впрямь в иллюминатор светила желтая луна, превращая пропеллер в сплошной сверкающий круг?

Он отложил исписанный лист, навис ручкой над белизной чистой бумаги, собираясь начать свой роман с описания райского сада, в котором оказался его странствующий герой. По мере приближения ручки к бумаге между ручкой и листом начинал трепетать крохотный вихрь, приближался свист, словно летел далекий снаряд. Цветочки на обоях блекли, и вдруг удар страшной силы проломил утлую перегородку, будто ее разнесла вдребезги чугунная баба. В проломе открылось иное ревущее пространство и время...

Дворец на снежной горе сиял золотыми окнами. Над дальними хребтами туманно мерцали звезды. Город внизу сонно светился, как тлеющий догоравший костер. Иногда в нем блуждали неясные лучи. Иногда что-то слабо искрило. К дворцу по серпантину подъезжали автомобили. Останавливались у озаренного подъезда, и на яркий снег выходили военные, краснели и золотились их кокарды и позументы. Министры без головных уборов в долгополых пальто. Губернаторы, радостно и взволнованно озирая янтарный фасад, благосклонно кивая отдающей честь охране. Входили в нижний холл, где стояла большая китайская ваза, увитая драконом. Сбрасывали пальто и шинели на руки слуг и шли вверх по лестнице, по мраморным ступенькам, по мягким коврам, туда, где над лестницей висела огромная картина в золотой раме. Рубились наездники в тюрбанах, грызлись кони, сверкали кривые сабли. Поле битвы было покрыто убитыми лошадьми и всадниками. Гости поднимались выше, на третий этаж, где горели люстры, слуги разносили подносы с напитками, и резная, покрытая золотом, высилась стойка бара.

У стойки, держа толстый стакан с кусочками льда, стоял хозяин дворца и разговаривал с министром обороны, седым генералом в эполетах и орденах, и министром безопасности, невысоким, черноусым, с оспинами на щеках. Сам хозяин был высок, с большим и холеным телом. Щеки были выбриты до синевы, в черных усах начинала белеть седина; у подбородка, когда он говорил, начинали дрожать сытые складки. На его белой рубашке красовался малиновый галстук и сверкал бриллиант. Его собеседники держали тяжелые стаканы и во время разговора подносили их к губам.

Министр обороны докладывал о том, как армия подавила мятеж в северных провинциях, и убитых мятежников сбрасывали в реку, и они тысячами проплывали мимо прибрежных селений, сея ужас в мятежных районах. Министр безопасности рассказывал, как удалось усмирить бунт в двух городах на западе, для чего потребовалось послать самолеты и бомбить жилые

кварталы. Оба они доложили обстановку на южном фронте, где нарастало сопротивление вдоль границы. Когда начнется таяние снегов в горах, откроются перевалы, и к противнику подойдет подкрепление.

Хозяин дворца выслушал их внимательно, одобряя их действия, поигрывая в стакане кусочками льда.

– Этот северный неумный народ – несчастье нашей истории. Я бы выбил их всех до единого и бросил в реку, но они размножаются со скоростью крыс, и от них постоянно исходит зловоние. Западные города начали свой мятеж еще при Александре Македонском, и их время от времени полезно посыпать бомбами, а потом посылать в их мечети преданных нам мулл. Южный фронт меня беспокоит, потому что повстанцы установили связь с предателями внутри нашей партии. Кстати, как ведет себя на допросах этот выскочка, возомнивший, что может диктовать партии свою собственную политику?

– Он все время молчит и иногда говорит, что его смерть вызовет большой международный резонанс.

– Я хочу поехать в тюрьму и задать ему несколько вопросов.

– Это невозможно. Сегодня утром он умер.

Они отхлебнули из стаканов, и министр безопасности языком удерживал скользящие кусочки льда.

– Меня тревожит одно обстоятельство. Наши гости ведут себя не совсем обычно. Батальон постоянно проводит ученья, словно готовится к бою. Не следует ли отвести его подальше от дворца и усилить охрану гвардией?

– Солдаты должны готовиться к бою. Я не вижу в этом ничего необычного. Кстати, вот и наш друг посол. Скажу ему несколько любезных слов.

И он пошел навстречу тучному, стареющему гостю, и когда эти двое встретились и обнялись, казалось, что они близкие родственники и дорогие друзья.

Суздальцев оторвал ручку от бумаги, чтобы прервать произвольное извержение строк. Он только что записал этот текст, но кто-то другой, неведомый продиктовал ему этот отрывок. Сам он никогда не видел дворца, белесого, мерцавшего под звездами снега, загадочного безымянного города, неразличимого во тьме. Никогда не видел этих смуглых усатых лиц, генеральских кокард, бриллианта, сиявшего в малиновом галстуке. Он не знал, о каких мятежах и восстаниях говорится в отрывке, какой неведомый город бомбили самолеты. Отрывок был ему внушен, надиктован. Кто-то мощно воздействовал на него. Врывался в его сознание, создавал картины и образы. Он стал жертвой аномального явления, пересечения миров, которые не должны встречаться. Так, слушая по приемнику легкую музыку, вдруг поймал переговоры летчика стратегического бомбардировщика, летящего над океаном. Убаюканный речитативом детского сказочника, вдруг поймал волну, по которой идет секретная боевая информация. Это было невероятно, было опасно, но и увлекательно – как увлекательно, оставаясь невидимым, подсматривать за кем-то, кто целуется в подворотне или раздевается донага, чтобы броситься в воду, или, не зная, что за ним наблюдают, выделяет странные телодвижения. Петру хотелось узнать, от кого исходят эти послания. Чьи тексты он перехватывает. Кто тот неизвестный писатель, сбрасывающий ему фрагменты своего романа.

Отрывок был написан им ручкой с черными чернилами, но те несколько строк, где говорилось о встрече хозяина дворца с послом неизвестной страны, были написаны красным. И он не помнил, когда сменил ручку. Почему возникла эта писанная кровью строка.

Суздальцев сидел, слыша, как тикают ходики за перегородкой, как вздыхает во сне тетя Поля. Взял ручку с черными чернилами, приближая к бумаге, чувствуя, как начинается трясение стола, как разверзается под ручкой воронка, и он с грохотом рушится в провал, в другой несуществующий мир, ревущий огнем и сталью...

Три боевые машины, искря гусеницами, мчались по серпантину к дворцу. Фасад дворца туманно желтел в темноте, лишь светились фонари у подъезда и горело окно первого этажа. Он прижимался к броне головной машины, окруженный солдатами, чувствуя, как ветер режет глаза, дворец приближается, и горящее золотое окно перечеркивается ветвями деревьев. Они проскочили на скорости капонир под маскировочной сеткой, где притаилась сдвоенная артиллерийская установка. Ливень огня и долбящий грохот не коснулись его, а лизнули вторую машину, и он, оглядываясь, видел, как вспыхивают ударявшие в броню снаряды, их огонь погружается в глубь машины, она начинает вертеться, скользить, с нее сыплются гроздь солдат, и третья машина, огибая горящую вторую, вильнув, уклоняется от длинных огненных струй. Головная машина ворвалась на площадку перед дворцом, развернула в сторону открытых дверей пулемет. Он видел, как из дверного проема полыхают бледные соцветья, пули звенят о броню, и пулемет начинает гвоздить короткими тугими очередями, подавляя огонь автоматчиков. Испытывая ужас от этого наполненного пулями и пульсирующими вспышками пространства, он слетел с брони и, продолжая ужасаться, толкаемый вперед тем же ужасом, нырнул в гущу очередей. Слышал, как пули вонзаются в дверные косяки, буравят камень фасада, влетают внутрь, расшвыривая и опрокидывая выбегавших в вестибюль охранников. Кинул накатом гранату, прячась от осколков за балюстраду. Услышал взрыв, пролетевшие над головой осколки и, пригибаясь, скачками, помчался вверх по лестнице, по красным коврам, не видя, но чувствуя, как устремились за ним солдаты, их автоматные очереди, их свирепую матерщину, их вопли боли и ненависти.

На втором этаже, освещенная висела картина, наездники в тюрбанах рубились саблями. С лестничной площадки из-под картины ударил автомат, и чье-то усатое, беззвучно кричащее лицо дрожало, заслоняемое вспышками. Он прочертил автоматом от лестничных перил, через лицо и выше, к батальной картине, остановив огонь на каком-то вздыбленном всаднике. Увидел, как перегнулся через перила усатый стрелок и, держа автомат, стал падать головой вниз, а он, не следя за его падением, устремился выше, на третий этаж, протаскивая за собой вверх по лестнице грохот и вопли боя.

Дворец сотрясался от взрывов. По переходам и лестницам перекатывались шары огня. Из оконных проемов пулеметчики отгоняли машины пехоты, укладывали на снег атакующих. Уже работала с соседней горы скорострельная «Шилка», вырубая в окне дыру, гася пулемет, наполняя дворец короткими красными взрывами.

Он вбежал на третий этаж. Холл был пуст. В сумраке золотилась резная стойка бара, и на ней тускло поблескивал стеклянный стакан. Высокие золоченые двери, выходившие в холл, были закрыты. Он сунулся в дверь, оказавшись в библиотеке – стеклянные шкафы с книгами, глубокие кресла, – все в сумраке озарялось мгновенно вспышками боя. Метнулся в другую дверь – кабинет, массивный стол, телефоны, огромный, на подставке стоящий глобус, все в мерцании вспышек. Выскочил в холл, видя, как вбегают два солдата, прижимаясь к стене, поднимая вверх стволы автоматов. Соседняя дверь отворилась, и из нее в сумрак холла вышел человек, босой, в одних трусах. Он разглядел его полный, перетянутый резинкой трусов живот, жирную, заросшую волосами грудь, его изумленное, холеное, с черными усами лицо. Он видел это лицо на огромных портретах, которые несли демонстранты. Видел в учреждениях, на стене, заключенное в золотые рамы. Видел на фотографиях, которые рассматривал перед штурмом дворца, одна из которых лежала в его нагрудном кармане. Он поднял автомат и, заметив, как удивленно поднялись брови человека, как растворился в усах белозубый рот, выпустил длинную очередь, рассекающую человека надвое. И пока тот падал, перечеркнул его очередью еще один раз, видя, как отлетают золоченые щепки бара, и человек, голый, раскинув неловко руки, приподняв одно колено, лежит на полу. Приблизился, прислонил ствол к его голове и сделал одиночный выстрел. Стоя над мертвецом, бросив автомат на стойку, извлек японскую порта-

тивную рацию, произнес позывной и сиплым голосом передал в булькающий эфир сообщение: «Главному конец!» И еще раз в шелестящий и журчащий эфир: «Главному конец».

Вышел на лестничную клетку и уселся на ступень, отложив автомат. Еще продолжала грохотать «Шилка»; внизу ударила очередь, где-то истошно кричала женщина. Солдаты взбегали по лестнице, занимая оборону на этажах. А он сидел, свесив руки, чувствуя, как заваливается в сторону балюстрада – мраморные, накрытые ковром ступени, на которых блестело вырванное из гранаты кольцо. Уплывала куда-то вбок стена со светильником, по которой хлестнула очередь, и он сам, сидящий на ступенях, соскальзывал, валился в сторону, захваченный огромным безымянным движением, опрокидывающим дворец, азиатский город, туманные под звездами горы. И это было вращенье земли.

Суздальцев сидел над исписанными страницами, и весь отрывок был написан красными чернилами. Он не помнил, когда отказался от черной ручки, сменив ее на красную. Лампа под самодельным абажуром горела, освещая красные бегущие строки, в которых, казалось, пульсируют кровяные тельца.

Перед ним лежало послание из другого пространства и времени. Донеслось к нему из другого мира, отделенного от него незримой мембраной, за которой существовала другая реальность, другой неизвестный ему человек, описывающий войну. Еще не наступившую, безымянную, о которой говорил ему полковник разведки с ожогом на лице. Быть может, ожог был получен им на этой еще не случившейся войне, которая искала его, Суздальцева, звала к себе. Отыскала его среди осенних лесов, в утлой избушке за перегородкой, и оставила на столе свою красную мету. И ему начинало казаться, что он где-то видел того человека, что грузился на военный транспорт. Летел на луну, двигался по улицам азиатского шумящего города, вдыхал сладкий дым жаровен, видел голубые драгоценные камни на торговых прилавках, а потом в ночи мчался по серпантину к дворцу, разрезал автоматной очередью картину с битвой наездников. Сидел, отложив автомат, на окровавленных ступенях дворца.

Он отложил исписанные страницы. Их писал он. Его пальцы были в темной чернильной пасте, и на них же виднелась крохотная красная клякса. Но что это было? Откуда в его память могли залететь видения войны, на которой он не бывал? Как разгадать эту тайну творчества?

Он не понимал природу случившегося.

Не одеваясь, не надевая шапку, вышел на крыльцо. В небе было чисто, звездно. Звезды переливались, текли над избами, над лесами, над пустыми полями, и от звезд веяли, опускались на землю невесомые силы. В железной бочке недвижно чернело круглое зеркало воды. Едва был различим кленовый лист. Безымянные бесшумные силы касались воды, погружались в бочку, копились в ее глубине, у железного дна. Что-то безымянное, тихое, неуклонное нисходило на землю. Петр чувствовал охватившие мир перемены. Тронул рукой воду, нащупал плавающий лист, погладил его, и ему показалось, что кто-то из глубины бочки тронул его ладонь ледяными губами. Он замерз, вернулся в избу, где тикали ходики и спала тетя Поля. Залез, согреваясь, под стеганое одеяло, и засыпал, видя, как танцуют под веками красные строчки. А утром, выходя на крыльцо, увидел седую, твердую, ставшую железной землю, бочку с сизым льдом, в который были заморожены пузыри воздуха и золотой, с красными прожилками кленовый лист.

ГЛАВА 3

Утром к нему вернулись тревога и мучительное непонимание, когда он вспоминал о вчерашнем наваждении. Стопка страниц лежала на столе, и он боялся к ней прикоснуться. Рассматривал свои темные скачущие письма, в которых вдруг появлялись красные вкрапления. Он не пошел в лесной обход. В далеких лесных опушках за ночь, после первого мороза, появилось больше тяжелой синевы и меньше золотого и багряного. Он остался дома, потому что лесник Виктор Ратников собирался пригнать в Красавино грузовик с метелками, которые по заказу лесничества вязали женщины в окрестных деревнях. За эти метелки работницам платили деньги, и он, Суздальцев, должен был пересчитать товар и занести число веников в накладную. Предстоящая операция раздражала его и тревожила. Тетя Поля, узнав о вениках, переполошилась:

– Смотри, Петруха, лесники – мужики хитрые. Витька Ратников плут. Обсчитают тебя, и выйдет у тебя неприятность. Недостачу из своей зарплаты покроешь.

Она посмотрела в окно, откуда могла нагрянуть напасть в виде хитрого Ратникова и грузовика с березовыми вениками, а потом тихо и весело рассмеялась: «В деревне мы жили, я в роще гулял. Березки ломал, мятелки вязал».

Тетя Поля сняла с керосинки сковородку, плюхнула ее на стол, на подставку. Они завтракали, тыкая вилками в сковороду, черную, блестящую от масла. Картошка, которую они ели, пахивала керосином, и этот привкус раздражал Суздальцева. Было непривычно обходиться без красивых тарелок из старинного бабушкиного сервиза, без серебряных вилок с монограммами. Эта деревенская манера есть без тарелок, ударяя в чугунную сковороду алюминиевой вилкой, была неприятна. Казалась бременем, которое он должен нести, чтобы уподобиться деревенским людям, с кем теперь ему предстояло жить.

Из окна была видна деревенская улица, сухая от мороза, с длинной замерзшей лужей. У соседского дома крыльцо было косым, а гнилые венцы сплющились и просели. В доме проживал странный человек Николай Иванович, нелюдимый, кособокий, что-то вечно бормочущий. Он редко покидал свою избу, неизвестно было, чем он занимается целыми днями.

По улице проходили люди, и тетя Поля тянулась к окну, провожая их пытливыми взглядами и замечаниями:

– Это кто же такой в собачьей шапке? Не наш. Должно, в совхоз инспектор приехал. Эва, эва, Семка Закруткин, с утра пьян. В сельпо водку привезли, а он разгружал. Куда-то Василиса Ивановна направилась. У ней вроде в школе уроки идут, а она не при деле.

И это назойливое любопытство тети Поли, ее следящие взгляды раздражали Суздальцева.

Он видел сизую, твердую, железную землю огорода, седые доски забора с присевшей, суетливой сорокой. Дверь соседского дома приоткрылась, и выглянул Николай Иванович, в шапке-ушанке, валенках и стеганой телогрейке. Тревожно оглядел двор, улицу. Скрылся и через минуту появился, пятясь, вытягивая из сеней козу. Тянул ее осторожно за рога; коза упиралась, цеплялась копытами за дощатый пол, а Николай Иванович что-то бормотал, приговаривал, извлекая белое, серебристое животное из темноты на свет. Отпустил рога, и коза скакнула, побежала по двору и остановилась, чутко нюхая морозный воздух. Стояла, белоснежная, чистая, с розовым выменем, с женскими, опущенными ресницами глазами. Николай Иванович с крыльца нежно, с обожанием смотрел на козу.

– Вон Николай-то Иванович подругу свою на прогулку вывел. Она у него в избе живет. Дураки говорят, что он с ней, как с женой, спит. Он, Николай Иванович, очень умный, но только умом трехнутый. Больно много читал, и что-то у него с умом случилось. Нигде не бывает, никого к себе не пускает. Только с козой и знает.

Коза грациозно ходила по двору, нюхала доски, выпуская из ноздрей легкие струйки пара. Несколько раз боднула отставшую тесину. Николай Иванович с крыльца нежно и печально смотрел на козу. Его, обычно испуганное, с затравленными глазами лицо было умиленным.

Суздальцев пытался представить эту странную судьбу, измученную несчастьями душу, для которой единственной отрадой оставалось это прекрасное женственное животное.

По улице возвращались из школы мальчишки. Размахивали портфельчиками, покрикивали. Увидали козу и Николая Ивановича, подбежали к забору, прильнули к щелям и стали дразнить:

– Козодой! Козодой!

Николай Иванович сжался, ссутулился, словно ожидал удара камнем. Кособоко спустился с крыльца к козе, стал тянуть ее обратно в дом. А мальчишки, упиваясь, хором кричали:

– Козодой, Козодой!

Тетя Поля накинула платок, побежала из избы, и Суздальцев слушал, как она кричала мальчишкам:

– Ишь, чего выдумали! Вот я вашим отцам-то скажу. Они вас надерут хорошенько!

Мальчишки в ответ смеялись, шли, размахивая портфелями, декламировали: «Козодой! Козодой!»

Суздальцеву была неприятна жестокость детей, гневный крик тети Поли и сама мучительная деревенская тайна, обитавшая в соседнем, полуразвалившемся доме.

К обеду появился долгожданный грузовик с метелками. Встал у окон, загородив свет. В избу просунулось бурачно-синее с мороза лицо Ратникова, его фетровая мятая шляпа, хитрые хмельные глазки:

– Начальство, принимай товар.

Суздальцев набросил пальто, вышел к грузовику. Шофер с небритым лицом равнодушно курил сигарку.

– Давай, Андреич, пиши в накладную сто шестьдесят штук, да мы поехали, – весело торопил Ратников.

– Пересчитаем, поедете, – сказал Суздальцев.

– Да на хрен считать. Пиши сто шестьдесят, не ошибешься.

– Посчитаем, тогда напишу.

Ратников был возмущен, сердито раздувал щеки, зло шурил маленькие зоркие глазки.

– Хочешь считать, считай. Я уже раз нагрузил, второй раз корчиться не буду.

Суздальцев, понимая, что его снова испытывают, видя насмешливое лицо шофера, толстые, по-бабьи гладкие щеки Ратникова, полез в кузов и стал по одному выкидывать веники на землю, ведя им счет. Веники мягко пружинили под ногами; пахли лесом, холодным, уснувшим в прутьях соком. Он бросал их вниз, стараясь не сбиться со счета, и раздраженно, тоскливо думал. Это он, знаток восточных языков, изучавший тонкости иранской поэзии и религии, баловень преподавателей, защитивший диплом с отличием, пренебрег всем этим, чтобы стоять в кузове зашарпанного грузовика, считать дурацкие метелки под насмешливыми и наглыми взглядами подвыпивших мужиков. Он выкинул на землю последний веник. Их оказалось не сто шестьдесят, как уверял Ратников, а всего лишь сто десять.

– Записываю, сто десять, – зло сказал он, раскрывая накладную, прижимая ее к капоту грузовика.

– Да на хрен тебе, Андреич, эта морока. Сто шестьдесят, сто десять – один хрен. Мужикам выпить охота, – развязно произнес Ратников, сплевывая на землю.

Этот презрительный плевок, злые блестящие глазки, насмешливые губы водителя вдруг вызвали у Суздальцева вспышку бешенства.

– Воровать не дам! За каждый пень, каждый прутик ответите! Так и скажи остальным! – и он грязно выругался, изумляясь этой грязной свирепой ругани. Он думал, что Ратников возмутится, ответит бранью. Но глазки лесника весело замерцали, он захохотал, обнажая ржавые зубы:

– Ну, ты, Андреич, даешь! Это не мы, это бабы так посчитали. Пиши, как знаешь, – и он стал подбирать веники, перекидывать их через борт. – Да, слышь, чего хотел сказать-то. Ты вон с ружьем ходишь в лес, а все пустой. Тебе нужна собака, лайка. Чтоб белку искала, рябчика. Есть у меня для тебя собака.

Это были слова примирения, которыми восстанавливалась их дружба и субординация.

– Что за собака?

– Лаечка молодая. Себе бы оставил, да мне тяжело по лесу с ружьем. Свое отстрелял. А тебе по дешевке продам, как начальнику.

– За сколько?

– Червонец. По дружбе, и как начальству.

– По рукам, – строго, как, должно быть, в подобных случаях говорят в народе, произнес Суздальцев.

– Слово кремь, – Ратников продолжал закидывать веники, которые в Москве, насаженные на длинные древки, превратятся в метлы, и московские дворники станут скрести ими улицы и подворотни. И Суздальцев заметил плутовское веселье, промелькнувшее на краснощеком лице лесника.

Он вернулся в избу, удрученный этой внезапной вспышкой бешенства, мерзкой, излившейся из него руганью. Огорченный, опустошенный, ушел за перегородку и лег на кровать, слыша, как отъезжает грузовик. Не глядел на стол, где лежала стопка опасных листков.

Петр задремал и проснулся в сумерках от громких голосов. Из темноты своего закутка, сквозь отдернутую занавеску, видел освещенную комнату, половики, неизменного черного кота и тетю Полю, которая разговаривала с гостьей. На гостье был надет короткий щегольской тулупчик, модные красные сапожки, она сидела на сундуке, положив рядом с собой мужскую кротовую шапку. Ее круглое молодое лицо было милостивым, с маленьким носом, тонкими выщипанными бровями, под которыми мерцали полные слез голубые глаза. Под левым глазом начинал багроветь, наливаясь свежий синяк. Она жалобным плачущим голосом говорила:

– Да он зверь, пьяный пес! Чуть не по его – за топор и гоняется. Я детишек к матери в город отправила, чтобы они этот срам и ужас не видели. Сейчас пришел, и ну меня нюхать, оглядывать, каким я мужиком пахну. Начал бить, и с топором. «Зарублю, говорит, а куски твоим хахалям разбросаю». Не могу я больше, тетя Поля, нету сил!

– А ты, Кланыя, на себя посмотри, может, ты виновата. Зачем мужа дразнишь? Тебя с лесорубами на лесосеке видали. С бригадиром Копейкиным куда-то в «газике» ездила. С солдатами прошлый год в лесу гуляла. Народ видит и Семке твоему докладывает. Какому мужу понравится?

– Да брешут все люди, тетя Поля, брешут. Ну, дразню я его, вид подаю, что есть у меня любовник. Не люблю я его, тетя Поля. Он, как волк злой, от него ночью бензином и железом пахнет. Нароботается на грузовике, в сельпо бутылку купит, разопьет с мужиками и является домой злой, как черт. Бросается на меня с кулаками.

– А ты, Кланыя, попробуй с ним по-хорошему. Приласкай, приголубь, какой-нибудь подарок ему сделай. Свитер ему купи, а то ходит в драпом. Хорошую еду приготовь. Он ведь, Сема, смиренным парнем был, аккуратным, приветливым. На гармошке играл. В самодеятельном театре участвовал. После армии стал другой. В каких-то атомных войсках служил, может, там мужскую силу свою потерял. Ты его лаской, добротой. Может, сила к нему вернется.

– Ненавижу я его, тетя Поля. Ночью просыпаюсь. Он рядом храпит, винищем от него несет. Думаю, встану, возьму нож кухонный и зарежу. Боюсь я себя, тетя Поля.

– Тогда вот что я тебе, девка, скажу. Сложи в кулек вещи и беги с его глаз долой. Иначе быть беде. Зарубит он тебя топором, сам в тюрьму пойдет, а детишек в детский дом сдадут. Послушай меня, Кланя, здесь большой бедой пахнет.

– Так и сделаю, тетя Поля, как говоришь. Сейчас соберу в кулек вещи – и к матери в город, с последним автобусом.

Поднялась с сундука, поправила растрепанные русые волосы, мельком глянула в старое зеркало, надела кротовую шапку и пошла к дверям, звонко цокая сапожками. Было слышно, как стукнула в сенях дверь.

Петр лежал в темноте и думал, что еще одна судьба, завязанная в свирепый узел, предстала перед ним. И он, возвращенный мамой и бабушкой в нежности и любви, оказался среди трагедий и распрей, раздиравших мир, который издавека казался ему привлекательным и чудесным.

Они чаевничали с тетей Полей под оранжевым абажуром, который он купил в сельпо, закрыв голую лампочку. Тетя Поля подливала из чайничка бледную, с вялыми чайниками заварку, посмеиваясь и приговаривая: «Чай жидок». Наливала в блюдце, подносила к губам и громко отхлебывала, закусывая ломтиком сахара.

– Вишь, Кланька гулящая. Не может, чтоб не гульнуть. А мужик мается, с топором за ней бегаёт. Пока ты девка, гуляй на здоровье, а уж коли вышла замуж, терпи. Держись мужа до смерти.

Она вздохнула и посмотрела на стену, где висело множество блеклых фотографий. Свадьбы, крестины, похороны. Серьезные крестьянские лица, позирующие рядом с женихами, младенцами, покойниками. Какие-то солдаты, железнодорожники, шоферы с женами, детьми и племянниками, среди которых уже не найти тетю Полю. И отдельно от этой, застекленной в общую раму мозаичной фотографии – суровый усач с худым недобрый лицом и недвижным большим взглядом, покойный муж тети Поли.

– Иван-то Михалыч как строг был со мною, обижал, бил. Любовница у него была в городе, а я терпела. Потому да прилепится жена к мужу своему. Он мне в отцы годился. Пришел с германской войны, сапожник был замечательный. Кругом девок было много красивых, а он меня из нищей семьи взял. Я его любить не любила, а уважала. Он меня в живот бил, когда я на сносях была, вот мои деточки и родились мертвыми. Там же на горе рядом с могилой Ивана Михалыча схоронены. Скоро и я к ним пойду, и снова семья образуется.

Суровый недобрый мужчина с солдатскими усами смотрел на них из деревянной рамы, и Суздальцев представлял, как рядом на горе, под громадными березами и косматыми вороньими гнездами стоят кресты, к которым тетя Поля на Пасху приносит крашенные яйца и ломти кулича.

Тетя Поля убирала со стола и готовилась ко сну, а он вышел на прогулку.

Дул ровный холодный ветер. Было звездно, льдисто. Земля под ногами, недавно жидкая, скользкая, казалась железной, и подошвы чувствовали металлические комья. В избах, незанавешенные, светились окна, наивно и простодушно открывая взгляду жизнь обитателей. Синел и дергался экран телевизора, освещая мигающим светом мужское лицо. В другом окне сидели за столом; женская рука поднимала половник, переносила в тарелку суп. В третьем окне шалили дети, и было видно, как мать беззвучно на них кричит, гонит спать.

Петр пробрался по проулку к реке. Веря, черная, без блеска, текла в черных берегах, слабо отражая звездное небо. Он прошел за село, где в бурьян выросли какие-то старые сваи, остатки старинных сараев и овинов. Тут же находилась разрушенная кузня, кирпичный остов с решетником кровли. Сквозь слуги холодно и недвижно смотрели звезды. Он остановился у кузни, чувствуя исходящий от нее запах старого железа, угля и окалины. Видимо, там еще сохранились остатки горна, ржавая наковальня, брошенные поковки. Звезды молча, ярко,

словно выкованные из железа, блестели сквозь деревянные жерди. И казалось, здесь, в этой старой кузне работали кузнецы, которые сковали весь этот мир с железным сверкающим небом, железную мертвую землю, недвижную реку. Весь мир изошел из этой старой кузни, как из умершего остывшего лона, был изделием неведомых кузнецов. Петр испытал тоску и необычайную щемящую боль, словно он один остался среди этой железной Вселенной, без тепла и без света, последний живой человек среди мертвого мироздания. И кто-то немой, суровый смотрел на него сквозь жерди и ждал, что он станет делать в своем одиночестве, как станет умирать под железным блестящим небом. Суздальцев почувствовал, как его лба коснулись ледяные железные персты, и это прикосновение проникло в его живое теплое тело и остановилось около сердца. Он возвращался домой, неся в себе это леденящее прикосновение.

Вернулся в избу. Тетя Поля спала. В ногах у нее кот блеснул из темноты зелеными глазами. Розовая лампадка тихо сияла пред медным окладом. Слабо искрилось стекло, за которым усатый николаевский солдат смотрел на свою спящую, состарившуюся вдову. Суздальцев прошел за перегородку и включил свет. Печка горячая, источавшая тихую сладость. У печки на гвозде стволом вниз двуствольное ружье. Все пространство каморки занимают кровать и стол. Слезится оконце, за которым, прикасаясь к стеклу, чернеют корявые колючки шиповника. На столе – томик Бунина, несколько исписанных листков. И, глядя на эти листки, он понял, что весь день дожидался этого часа. И когда наблюдал соседа Николая Ивановича, выгуливающего свою серебряную козу. И когда выбрасывал из грузовика шуршащие пахучие веники. И когда слушал жалобы избитой неверной жены Кланьки. И только что, гуляя под железными звездами. Весь день он дожидался этого ночного часа, чтобы сесть за стол и узнать, повторится ли необъяснимый вчерашний и пугающий опыт. Ворвется ли в его каморку загадочная война и ляжет на страницу нервным сумбурным текстом.

Он сел. Положил перед собой чистый лист бумаги. Взял ручку и приблизил к листу, ожидая, что в пространстве, отделяющем ручку от бумаги, проскочит крохотная трескучая искра. Начнет пульсировать электрический пузырек, превращаясь в громадный взрыв. Разрушатся стены избы, и в пролом с металлическим ревом и грохотом ворвется война.

Он держал над бумагой ручку, но ничего не происходило. Ночь молчала. Тикали ходики. Было слышно мурлыканье кота. Вчерашнее не повторялось. Блуждающий сигнал из Космоса не прилетал. Таинственный художник, писавший свою военную повесть, скрылся от него навсегда.

Мало-помалу его мучительное ожидание сменилось смутными фантазиями, и он снова стал обдумывать главу своего повествования, где русский странник, одолев бескрайние степи, переплыв полноводные реки, перебравшись через неприступные горы, очутился у волшебного города. Опираясь на посох, смотрит с изумлением на дворцы и мечети, вдыхает аромат райских роз.

Он уже касался бумаги, когда услышал тончайший писк, похожий на жужжание комара. Писк усилился, становился пчелиным жужжанием. Рокот налетал, становился ревом, и в стене открылся жуткий, наполненный дымом провал, и сквозь этот металлический дым длинной стальной струей ворвалась война. Захватывала его в свое дикое стальное стремление...

Самолеты появлялись из-за хребта, как легчайшие проблески солнца. Начинали снижаться, вписываясь в тесную долину с городом, клетчатыми полями, образуя в воздухе медлительную карусель. Когда нижние увеличивались, блестели чашами винтов, качали алюминевыми плоскостями, верхние все продолжали возникать над сверкающими пиками льда. Наполняли лазурь поднебесным металлическим рокотом. Первый самолет приземлился, ударил дымными колесами о бетон, побежал по полосе, гася скорость. Хвостовая аппарель опускалась; из хвоста, как семена, сыпались десантники. Веером разбегались в стороны. Мчались к диспетчерской вышке, к ангарам и самолетным стоянкам, а транспорт, жужжа, набирал ско-

рость, двигался до конца полосы и взлетал, освободив место для следующего самолета. Взлетавшие и опускавшиеся самолеты создавали в небе сложную двойную спираль. Из хвостовых отсеков выпадали боевые машины, с ходу, с включенными двигателями, мчались в дальние концы аэродрома, беря под прицел ближние складки гор и рифленый, как вафля, город. Дивизия десантировалась, захватывая аэродром, и он смотрел, как, играя автоматами, сильно работая мускулами, пробегают мимо десантники. Последние облегченные транспорты по спирали уходили вверх, пропадая за кромкой хребта.

К нему подбегал капитан с белесыми лихими усиками, в камуфляже, в полосатой тельняшке:

– Майор, мы на месте. Берем под контроль объекты...

Суздальцев смотрел на листок, на котором остывал горячий металлический отпечаток. Война искала его, преследовала, находила среди деревенского захолустья. Он был ей важен, был ее мишенью. Сидя в деревенской избе, под сонное тиканье ходиков, среди ночных недвижимых лесов он вел репортаж о войне, на которой не был, не знал ее природы, не знал, где она протекает. Тети Полин дешевый приемник с бумажным циферблатом и стрелкой доносил до него разноязыкую речь, обрывки симфоний и джаза, назойливое вещание дикторов. Мир искрился конфликтами, но не было в мире войны. Не было белых хребтов, через которые перелетали военные транспорты, и десантная дивизия захватывала чужую страну. Таинственный майор со странно знакомым лицом сидел в боевой машине, расставлял на перекрестках незнакомого города броневики и танки, и толпа шарахалась от наведенных на нее пулеметов и пушек. Где проходила эта война? На каком континенте? Быть может, на другой планете, в иных мирах – и световая волна, блуждая в мироздании, отыскала его, вошла в резонанс, запечатлела на листке картины военных действий...

Улица была пуста и безлюдна, сужаясь, уходила вдаль, с удалявшимися по сторонам конторами, магазинами, лавками, над которыми пестрели выцветшие вывески. Впереди, на проезжей части валялась колесами вверх деревянная повозка, и упавшие с нее оранжевые апельсины рассыпались далеко на пустом асфальте. Он стоял по пояс в люке броневика, слушая бульканье рации, переговоры командиров частей, блокирующих центральные районы города. В удаленном конце улицы что-то кипело, бурлило, окутывалось едкой дымкой, источало ядовитое свечение. Так бурлит и вспыхивает попавший в желоб жидкий металл, стесненный тугоплавкими кромками. Слева, въехав на тротуар, стоял танк, нацелив пушку в соседние лавки и вывески. Броневики с пехотой стояли поодаль, уставляя пулеметы вдоль улицы, а он, выехав за ограждение, смотрел в бинокль, как кипит и клокочет далекая толпа, и оттуда доносился бессловесный рыдающий звук.

– «Кристалл!» «Кристалл!» Я «Гранит!». Огонь не открывать, действовать вытеснением. Как поняли меня?

Он смотрел в бинокль на рассыпанные апельсины, на вывески лавок. Среди блеклых раскрашенных досок ярко и сочно зеленела одна, с неразборчивыми письменами, и он выбрал зеленую вывеску, как рубеж, до которого он позволит толпе продвигаться.

Близко, с крыши двухэтажного дома, на котором был намалеван фарфоровый чайник и улыбающийся торговец держал в руках стопку фарфоровых тарелок, с крыши, из слухового окна, раздался выстрел. Пуля звякнула по броне, с унылым жужжанием отрикошетив в сторону.

– Рокот! Рокот! Я Кристалл! Снайпер на крыше дома. Слуховое окно над вывеской. Белый чайник на красном фоне. Уничтожить!

Он спрятался за стальной крышкой люка. Видел, как танк повел пушкой, отыскивая вывеску. Нашел. Оглушительно грохнуло, танк присел, выпуская из ствола дымное пламя.

Верхняя часть дома с вывеской рухнула, и оттуда, вместе с дымом, на асфальт посыпались бесчисленные осколки фарфора, расколотые блюда, тарелки, цветные сервизы и чашки. На осколки выпал человек, в чалме и накидке, распростерся среди битой посуды, разведя ноги в шароварах и заостренных чувяках. Было видно его запрокинутое лицо с маленькой черной бородкой.

Толпа приближалась, но между ней и зеленой вывеской еще оставалось пространство. В бинокль были видны первые ряды толпы. Люди в балахонах и тряпичных повязках, взявшись за руки, сдерживали давление задних рядов. Перед ними пятились вожаки с мегафонами, направляя в толпу рокошующие заунывные вопли.

– Кристалл! Кристалл! Я Гранит! Действуйте по обстановке.

Через пустое пространство улицы он чувствовал тугое, яростное, исходящее от толпы дуновение. Толпа приближалась, толкая перед собой волну неодолимой страсти и ненависти. Она была сильнее взрывной волны, раскаленной кумулятивного пламени, могла прожигать броню, переворачивать танки. Она заливала улицу раскаленной неудержимой магмой. По сторонам улицы дымилось, пылило, опалили вывески, падали ставни и жалюзи.

Он чувствовал, как нервничает водитель броневика, как в танке сжался экипаж, как беспокойны солдаты на броневиках; их облучает слепая, исходящая из толпы сила, и они готовы спастись, прыгать с брони, разбегаться по проулкам и подворотням.

Он чувствовал, как в нем начинается паника. Как тесно ему в люке, как начинает дрожать и плавиться лобовая броня, и он беззащитен перед этой слепой истребляющей силой.

Уже без бинокля были видны лица в толпе, открытые кричащие рты, вздетые кулаки, сжимавшие палки. Агитаторы пятились, ревели в мегафоны, выкликали «Аллах акбар!». Толпа подхватывала крики, превращала их в грозный пламенный выдох, от которого у него леденело сердце. Эти крики, этот неудержимый вал обрекал его на уничтожение.

Кромка толпы коснулась зеленой вывески. Кто-то прыгал, размахивал палками. Вывеска накренилась, косо повисла, а толпа прошла рубеж, приближалась. Пространство между ней и броневиком уменьшалось, наполненное сжатым светящимся воздухом, который нагнетался могучей помпой.

– «Кристалл!» «Кристалл!» Я «Гранит!» Разрешаю огонь на поражение. Как слышите меня, «Кристалл»?

Он окунулся в люк, обернулся к пулеметчику и срывающимся голосом прокричал:

– По толпе! На поражение! Огонь!

Близко, оглушительно, стучащими толчками загрохотал пулемет, выплевывая из распула рыжее пламя. Трассы пунктиром полетели к толпе, промахнулись, летя над головами, опустились ниже и вонзились в середину толпы, выстригая в ней вмятину. Люди падали, толпа раздвигалась, из задних рядов наступал новый вал, и в него вонзались жалящие пунктиры очереди, выедавая в толпе пустоту.

– Огонь! – как безумный, кричал он. – Огонь!

Толпа рассыпалась, втягивалась в соседние проулки, унося в глубину города отчаянные вопли ненависти. Пулемет умолк, ярко светлели рассыпанные апельсины, валялись вповалку люди в чалмах и накидках, и кто-то полз, отрывался от земли и падал, и снова продолжал ползти.

Суздальцев ошеломленно смотрел на исписанный лист. И вдруг в прозрении понял, что войны этой нет. Ее не существует в нынешнем времени, нет ни на одном из континентов. А она существует в будущем, и о ней никто, кроме него, не догадывается. Она скрыта от глаз военных, политиков и историков. Заслонена от них сегодняшней сумбурной действительностью. Никто не знает, где, на какой горе находится янтарный дворец, который штурмует безвестный батальон. Через какие хребты в алюминиевом солнце переплывают медлительные транспорты. На

какой из улиц бесчисленных городов находится вывеска с фарфоровым чайником, в который целится танк. Эта война является вестью из будущего, и эта вестя адресована ему, и он должен что-то немедленно сделать, кого-то оповестить, кому-то сообщить о грядущем несчастье. О грядущей войне, на которой погибнут спящие в эту минуту отроки, не ведая, что пули для них уже отлиты. Воспаленными глазами он смотрел на белый лист бумаги, не касаясь ручкой, и на белом листе возникали строчки.

Багровая заря над горами. Вечерний город, как пчелиные соты, лепится по склону горы. Желтые, как рыбий жир, огоньки. Город ошпаренный, липкий, словно с него содрали шкуру. Мятаж, подавленный пулеметами и грохотом танков, покинул улицы, укрылся в трущобах, свернулся в них, как остановленный вихрь, готовый вновь развернуться, хлестнуть по улицам своим чешуйчатым хвостом, раскрыть ужасный огнедышащий зев. Он стоит у мешков с песком, глядя, как десантник устанавливает в амбразуре сошки пулемета. И внезапный свистящий, грохочущий звук. От зари на город пикирует штурмовик, стреловидный, стремительный, проходит над городом, наносят хлещущий удар звука. Взмывает и уходит за горы. Другой штурмовик пикирует с другой стороны, нанося разящий удар, полоснув город свистящим хлыстом. Самолеты наносят по городу удары крест-накрест, загоня мятеж в гнилые трущобы, не давая ему подняться. И в ответ, среди последних отсветов зари, под первыми звездами по всему городу булькая, звеня, как голошенья тетеревов на болоте, перекатываются, переливаются крики «Аллах акбар» – как вопли исхлестанного избитого города...

Суздальцев сидел за столом, и ему казалось, что на его теле взбухают рубцы.

ГЛАВА 4

Ночью сквозь сон Петр слышал, как шумит за окном, дрожит изба, ударяют в стекла мерзлые ветки шиповника. Словно кто-то ломился в его каморку. Он сжимался под одеялом, подтягивал колени к подбородку, словно хотел укрыться в материнском лоне от ужасов и опасностей мира, в котором был рожден. Проснулся в черноте холодной избы, слыша, как тетьа Поля за перегородкой гремит сковородкой. Зажег свет. К темному слезящемуся оконцу были прижаты ветки шиповника с оранжевыми ягодами, и на них лежал снег, сгибал своей тяжестью колючие кусты.

Он наспех перекусил картошкой, следя, как лампочка отражается в черной масляной сковородке. Натянул сапоги и плащ с поддевкой, кинул на плечо ружье и вышел на крыльцо. Небо было черно-синее, едва тронутое рассветом. Кругом была светящаяся в синих сумерках белизна выпавшего снега. Ступени крыльца, огороды, тесовый забор, дорога, крыши соседних домов – все было белым. Ветер нес запахи сырых лесов и полей, в которые ночной буран принес снег.

Суздальцев схватил горячей рукой мокрый снег, слепил снежок, куснул его холодную сочную мякоть и метнул в доску забора, на которой вчера сидела и крутилась сорока. Услышал гулкий сочный удар, разглядел в темноте белую метину.

Бочка с застывшей водой была покрыта купой снега. Он положил на купу растопыренную пятерню, чувствуя, как тает под ней снег. Сизый лед с застывшим пузырьком воздуха и замороженный кленовый лист были припечатаны его пятерней. Зима была уловлена в бочку.

Он вышел на дорогу, заметенную снегом, с одиноким черным следом проехавшей машины. Шел по деревенской улице, заглядывая в незанавешенные окна. В избах топились печи, красное пламя озаряло полукруглый зев, в нем чернели чугуны, в которых хозяйки запаривали корм для скотины. Сами хозяйки, с ухватами, в платках, заслоняли на мгновение красный огонь, и эти пламенеющие очаги создавали ощущение древнего, языческого капища, среди которого сновали хранительницы огня.

Когда он вышел за село на гору, над черным лесом розовела заря. Когда шел через поле, проминая сапогами сочный снег, заря становилась все красней и огромней. Когда приближался к лесу, небо желтело, светлело, и ели стояли, покрытые снегом, а метелки сухой травы под ногами были забросаны белыми сливками.

Он направлялся к соснякам на болоте, где поджидал его лесник Сергей Кондратьев, которому вменялось заготовить сосновые семена. Собранные шишки он разложит на печи, дождетса, когда расклеятся смоляные ячейки и из них просыплются семена. Их посеют в питомник, и через два года крохотные пушистые сосенки повезут на лесную пустошь и насадят лес.

Аукаясь, гулко перекрикиваясь, они отыскивали друг друга. Кондратьев сидел на поваленном дереве среди невысоких развесистых сосен, с которых временами опадал тяжелый тающий снег. Лесник держал на коленях железные «когти», которыми пользуются электромонтеры, залезая на столбы. Подтягивал ремни, примеряя «когти» к своим кирзовым сапогам.

– Будем ветки, которые пониже, пилить и шишки с них обирать. Имеем полное право. Одну ветку спилим, а вместо нее лес посадим. Одно другого стоит.

Он нацепил «когти», засунул за пазуху ручную пилу и, широко расставляя ноги, пошел к сосне. Полез на нее осторожно и основательно. Упирались когтями в золотистый шелушащийся ствол, принимая на шапку и на плечи падающий снег. Суздальцев следил за его медвежьей грациозностью, радуясь своему участию в этой нехитрой лесной работе.

Кондратьев достиг нижних веток, угнездился поудобней и стал пилить пушистые, усыпанные шишками ветки. Обрушивал их с треском вниз. Суздальцев собирал зеленоватые, скле-

енные смолой шишки, пахнувшие хвоей, канифолью, и ссыпал их в сумку. На пальцах его осталась смола, и он лизнул их, почувствовав на языке вкус скипидара.

Кондратьев спустился, раскрасневшийся, с сизыми щеками, сбросил «когти» и достал завернутый в газету ломоть сала и краюху хлеба:

– Поработали, пообедаем. Имеем полно право.

Было славно сидеть на поваленном дереве среди заснеженного леса, жевать розоватое, твердое от холода сало, заедать черствым хлебом.

– Я че тебе хотел сказать-то, Андреич. Спасибо за три куба, которые ты мне простил. Я из них венцы срубил. Теперь на избу хватит. Лес, он чей? Государственный. А мы чьи? И мы государственные. Значит, имеем полно право брать пару-другую лесин, если на избу не хватает. Избу не для себя ставлю. Я, может, скоро помру. А дети в стоящем доме жить будут. Имеют полно право.

Суздальцев внимал мужицкой мудрости, находя ее справедливой, не осуждая этих плутоватых, кормящихся от леса людей за их мелкие хитрости и утайки. Радовался тому, что среди темных покосившихся изб встанет новая с золотыми венцами изба, и в этом будет его, Суздальцева, малая бескорыстная заслуга.

– Я тебе вот что скажу, Андреич. Если ты всерьез из города сюда перебрался, строй дом. Лес твой, возьмешь из него, что надо. Имеешь полно право. Я тебя плотничать научу. Шкурить, пазы рубить, хошь в лапу, а хошь внахлест. Приходи ко мне подмастерьем. Скатаем, решетник поставим, дранкой покроем. Будем пить, гулять, новоселье справлять. А что, – обрадовался он внезапно подвернувшейся рифме, – имеем полно право!

Суздальцев любил его, был благодарен этому зрелому мужику за то, что заслужил его доверие. Был готов идти к нему в подмастерья, чтобы вместе с ним перекачывать по снегу пахучие золотые бревна, врубаться отточенным топором в крепкую древесину, выламывать белые хрустящие щепки. И встанет его, Суздальцева, дом, крепкий, ладный, с золотистыми венцами, с торчащим из пазов кудрявым мхом, с резными наличниками и нарядными стеклами, отражавшими розовую слядяную зарю. Его дом поднимется рядом с убогой избушкой тети Поли. И он заживет в этом доме, уважаемый всеми в окрестных деревнях лесной объездчик. А вместе с ним – румяная дородная жена, из тех красавиц, что встречаются ему на деревенских улицах в цветастых кустодиевских платках, с озорными веселыми глазами.

– Ого, гляди-ка, Андреич, белка!

Суздальцев увидел, как по вершинам сосен, отталкиваясь четырьмя лапами, прыгает белка. Перенеслась на голую, с корявыми ветвями осину, теряя высоту, пышно распутив хвост. Метнулась вверх по стволу, скользя синей тенью. Пробежала по ветке, стряхивая с нее снег. Полетела в воздухе к соседней березе, влетая в прозрачную крону, цепляясь за шаткие ветки, сжимаясь в упругий комок, распрямляясь в гибкую голубоватую пружину. Грациозно, выписывая легкие иероглифы, бежала, словно чертила в небе таинственную строку. Были видны ее уши с кисточками, заостренная мордочка, красноватое брюшко и синий плещущий хвост, который загибался, как драгоценная буква.

– Андреич, что рот раскрыл! Стреляй!

Лесник бросил сумку с шишками, азартно побежал сквозь деревья, преследуя зверька. Суздальцев, восхищенно, испуганно наблюдая воздушный пролет белки, схватил ружье, повел стволами вслед красно-голубой трепещущей белки. Выстрелил. Сквозь дым и блеск огня увидел, как белка сорвалась с ветки, упала на нижнюю, попыталась зацепиться, карабкаясь ввысь, опять сорвалась и головой вниз, дрожа хвостом, упала в снег. Несколько раз свилась в завиток, распрямилась и замерла. Небо, из которого она выпала, казалось пустым, словно омертвело и выгорело. Петр побежал к добыче, не понимая, ликовать ему или горевать.

– Стой, слышь, Андреич, не трогай руками. Если живая, прокусит. Зубы у ей, как иглы.

Кондратьев подошел первый, тронул зверька сапогом. Белка не шевельнулась. Лежала, нежно и грациозно протянувшись по снегу. В голове недвижно мерцал темный глазок. Около мордочки на снегу краснели катышки крови.

– Молодец, Андреич, скоро шубу себе сошьешь. Имеешь полно право. Ты хоть умеешь их разделявать?

Суздальцев покачал головой. Ему было жаль белку, которую он выстрелом смахнул с вершины. И казалось странной возможность коснуться руками недоступное, не знавшее человеческого прикосновения существо. И была радость, упоение первым охотничьим успехом, благодарность лесу, который послал ему этот дар.

– Учись, Андреич, белку разделявать.

Сергей Кондратьев достал перочинный, остро отточенный нож. Поднял белку. Держа головой вниз за лапу, сделал длинный надрез, вскрывая ей пах. Просунул палец в основание хвоста, с треском потянул, извлекая из пушистого голубоватого меха длинный, красный, заостренный на конце костяной отросток. Стал сдирать потрескивающую шкурку, обнажая красные липкие мускулы ног. Рассекал кости на кончиках лап. Сволакивал чулком шкурку, обнажая белую влажную изнанку. Сделал последний, у основания носа, надрез. Отсек вывернутую изнанкой шкурку с синим хвостом от красной мокрой тушки с худыми фиолетовыми ребрами и оскаленной головой. Кинул тушку на снег, и она, красная и горячая, окруженная белизной, плавила снег.

– Повесь над печкой, пусть сохнет, – передал он шкурку Суздальцеву, и тот чувствовал исчезнувшую теплоту зверька, парной и едкий запах рассеченной плоти.

Вдалеке послышался гулкий окрик. На него отозвался Кондратьев, и скоро сквозь стволы замелькала тучная, неловкая фигура, и к ним на поляну вышел Ратников. Не один. Его опережала проворная пушистая собака. Замерла, увидев незнакомых людей. Чуть слышно заворчала. Осторожно приблизилась к красной ободранной беличьей тушке и понюхала ее, брезгливо отвернувшись. Так же осторожно подошла к Кондратьеву и Суздальцеву, обнюхала их. Побежала обратно к Ратникову. Это была чистокровная лайка с густым серым мехом, остроконечными чуткими ушами и упругим кольцом хвоста. Ее узкая молодая морда была дружелюбна, глаза весело и остро блестели, и от нее исходила веселая энергия, игривая радость.

– Ну, Андреич, ты стрелок. Какого зверя завалил, – Ратников тяжело дышал, усмехался, протягивал для пожатия руку. – А я слово-то держу. Собаку тебе привел. Какой охотник без собаки? Белками мешок набьешь... Дочка, Дочка, иди сюда, вот твой новый хозяин.

Собака подбежала, скакнула ему на грудь, стараясь лизнуть в лицо. Суздальцев видел, какой у нее сочный розовый язык, блестящие клыки, какие пышные вылетают из черных ноздрей букеты пара.

– Давай, Андреич, гони червонец. Собака твоя.

Суздальцев извлек смятые деньги, передал Ратникову, а тот вытащил из-за пазухи свернутый брезентовый поводок и протянул Суздальцеву.

– Возьмешь на поводок, выведешь из леса, а потом отпусти. Не убежит. Поймет, кто хозяин, – и он, защемив поводок на кольце ошейника, передал его Суздальцеву. Еще немного они оставались втроем. Кондратьев перекинул через плечо железные «когти», подхватил сумку с шишками и пошел через лес к своей деревне.

– Хочешь, обмоем покупку? – спросил Ратников, кивая на собаку. – Ну как хочешь, – и пошел через лес тем же путем, каким явился.

Суздальцев, держа на поводке крутящуюся собаку, пошел на просеку, строго покрикивая на лайку, когда она запутывала поводок в кустах или обматывала его вокруг своего горла.

На опушке, выйдя на поле, он спустил собаку с поводка. Она оглянулась на лес, в котором исчез ее недавний хозяин, кинулась в поле, радуясь свободе, влажной белизне. Перебегала из стороны в сторону, удалялась, едва заметная на снегу, снова подбегала. А он шагал через поле,

гордясь своей новой ролью хозяина. В его подчинении находилось теперь это жизнерадостное, красивое и милое существо, которое то подбегало близко, взглядывая своими умными вопрошающими глазами, то уносилось вперед. Рылась черным носом в снегу, вынюхивая мышь или заячий след, а он временами окликал ее: «Дочка, Дочка!» – и она преданно, с готовностью мчалась на его оклик.

Он уже любил ее, уже не мыслил себя без нее. В своей свободе, в своем одиночестве он обрел друга, преданного провожатого, с которым они станут неразлучно бродить по лесам. Вот если бы его сейчас увидели мама и бабушка, почувствовали его счастье, то перестали бы горевать о нем, порицать его уход из дома. Вот если бы его увидела невеста, она поняла бы его стремление к свободе, к вольной жизни охотника и лесника, которому незачем связывать себя узами обыденной городской жизни. Собака бежала впереди, оставляя на снегу когтистые отпечатки. Он шагал следом, неся в рюкзаке убитую белку, думая, что теперь и впрямь сбудется предсказание лесника Кондратьева, и с помощью обретенной лайки он настреляет в лесу белок на меховую щегольскую шубу.

Затемнели на бугре избы Красавина, появился из низины шатер колокольни с покосившимся ржавым крестом, на котором в часы заката вдруг загорались крупницы золота. Петр собирался взять собаку на поводок, чтобы пройти по улице независимо и сурово, как настоящий охотник и лесной объездчик. Из окон, приликая носами к стеклам, станут смотреть ему вслед деревенские соглядатаи. Но сколько он ни звал лайку, сколько ни кричал, подзывая ее: «Дочка! Дочка!», собака издали смотрела на него веселыми глазами, не подходила, кружила по полю. А у первых изб кинулась в огороды и исчезла. Он сердито, огорченно шагал по улице, надеясь добраться до дома, скинуть рюкзак и ружье и отправиться на поиски строптивой лайки.

Навстречу ему, сгибаясь в три погибели, опираясь на клюку, шла Аня Девятый Дьявол. Платок ее был плохо завязан и свисал у подбородка, как длинная борода. На ногах были калоши, надетые на шерстяные носки, и каждый шаг давался ей с трудом и болью. Дергался ее страдающий горб. Ее догоняла простоволосая, в незастегнутой шубейке женщина, племянница старухи. Она приехала из каких-то отдаленных мест ухаживать за теткой, дожидаясь, когда та помрет и дом перейдет в ее собственность.

– Ну, куда ты, тетя Аня, намылилась? Ты же дурная, безумная, в поле замерзнешь, – говорила племянница, поглядывая на проходящего Суздальцева, скорее для него, нежели для несчастной старухи. – Ну, куда ты, тетя Аня, намылилась?

– Поликарпушка зовет, – тихо, шепча беззубым ртом, произнесла старуха.

– Ну, какой Поликарпушка? Дядя Поликарп убит, и у тебя за иконой на него похоронка, и места этого, где он похоронен, ты не знаешь. Пойдем, пойдем домой, пока не замерзла. – Она обняла старуху, развернула ее обратно и бережно повела домой. Так, чтобы Суздальцев видел ее терпеливую заботу и смирение, с какими она ухаживала за безумной старухой.

Вошел в дом, скинул сапоги, повесил у печки ружье. Извлек из рюкзака белку и показал тете Поле.

– «В островах охотник цельный день гуляет, если неудача, сам себя ругает», – встрепенулась она, глядя на белку. – В другой раз у нас к обеду заяц будет.

Дверь отворилась, и две гневные, крикливые женщины переступили порог, встряхивая в воздухе комки перьев, из которых торчали куриные лапы и окровавленные огрызки шей.

– Что же это творится! Кто же это, чертяка, собаку с привязи спускает! Какая она собака, если кур давит!

– Жили, как жили, пока из города всякие не понаехали. Бешеных собак развели. Им, городским, все легко дается. Здесь каждого куренка вырасти, корм купи, выхаживай, пока яйцо не пойдет. А эти городские, как баскаки.

– Пусть за кур заплатит. А не то в милицию жалобу, в эпидемстанцию. Пусть приедут, дуру бесхозную застрелят!

Женщины шумели, трясли безголовыми курами, отрясали на пол рябые перья. Тетя Поля, смущенная, виноватая, переводила глаза с разгневанных соседок на несчастного жильца.

– Валентина, Галина, он же не нарочно собаку спустил. Ему сегодня дурную собаку подсунули. Он вам заплатит. По три рубля за курицу.

– Какие три! Пусть по пять платит, по-рыночному. Они только в этом годе нестись по-настоящему стали. Холера на его голову!

Суздальцев ушел за перегородку, достал скромные деньги, которые получил в лесничестве. Отсчитал пятнадцать рублей и вынес женщинам. Те приняли деньги, умолкли. Гнев прошел. Та, что кричала громче остальных, спокойно спросила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.